

# ЮНОСТЬ



УЧРЕДИТЕЛЬ:  
АНП «Реданция журнала  
"Юность"».

«ЮНОСТЬ» —  
зарегистрированный  
товарный знак.  
Правообладатель —  
АНП «Реданция журнала  
"Юность"».

ГЛАВНЫЙ РЕДАНТОР:  
Сергей Александрович  
Шаргунов

Выпуск издания  
осуществляется  
при финансовой поддержке  
Федерального агентства  
по печати и массовым  
коммуникациям.

Лиц. Минпечати № 112.  
ISSN 0132-2036

Наша почта:  
unost-org@mail.ru

Наш сайт:  
unost.org  
юность.рф  
Мы в социальных сетях:  
facebook.com/unost  
vk.com/zhurnaliunost  
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:  
125047, Москва,  
ул. 1-я Тверская-Ямская,  
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправок:  
125047, Москва,  
а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,  
+7 (499) 250-40-74,  
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

Ильдар Абузяров  
Зоя Богуславская  
Алексей Варламов  
Анна Гедымин  
Сергей Гловюк  
Борис Евсеев  
Тамара Жирмунская  
Елена Исаева  
Владимир Ностров  
Нина Краснова  
Татьяна Нузовлева  
Евгений Лесин  
Юрий Полянов  
Георгий Пряхин  
Елена Сазанович  
Александр Соколов  
Борис Тарасов  
Елена Тахо-Годи  
Игорь Шайтанов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей Шаргунов  
Вячеслав Ионовалов  
Яна Нухлиева  
Евгений Сафронов  
Татьяна Соловьева  
Светлана Шипицина

РЕДАНТОР-КОРРЕКТОР

Юлия Сысоева  
РАЗРАБОТКА МАНЕТА  
Наталья Агапова  
ВЕРСТКА  
Наталья Горяченнова  
АДМИНИСТРАТОР САЙТА  
Антон Шипицин  
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
Алла Матюхина

Подписные индексы:  
каталог «Почта России» —  
П1972,  
объединенный каталог  
«Пресса России» — 71120

Реданция не имеет  
возможности вести  
переписку с авторами.  
Рукописи  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
Авторы несут  
ответственность  
за достоверность  
предоставленных  
материалов.  
Мнения автора  
и редакции могут  
не совпадать.  
При перепечатке  
материалов ссылка  
на журнал «Юность»  
обязательна

Отпечатано  
в ООО «Типография  
«Миттель пресс»

Москва,  
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс:  
+7 (495) 619-08-30,  
+7 (495) 647-01-89  
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3 500 экз.  
Формат: 60x84/8  
Заназ №

«ЮНОСТЬ»  
© С. Красауснас. 1962 г.

На 1-й странице обложки:  
Арина Обух «Над городом»

# ПОЭЗИЯ

- 6 ЕЛЕНА БЕЗРУКОВА  
10 АНАСТАСИЯ КИНАШ  
14 СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ

# ПРОЗА

- 20 ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ  
СКВОЗЬ БОЛЬ  
46 ВЛАДИМИР ГЕНДЛИН  
БЫТЬ БАРАНОМ  
65 ДАНИИЛ ФРИДАН  
РАССКАЗЫ  
70 АРИНА БОЙКО  
СУДЯ ПО ТЕКСТАМ  
77 РИЧАРД СЕМАШКОВ  
СТИРАЛКА  
80 СЕРГЕЙ КУБРИН  
ТИХО, МИРНО И СПОКОЙНО  
85 ЭЛЬЗА ХУСАИНОВА,  
СЕРГЕЙ СМИРНОВ  
МЕТРОПОЛИС  
90 ВАЛЕРИЯ КРУТОВА  
АНТ ВАРЕНИЯ

# НЕФОРМАТ

- 94 АННА ДОЛГАРЕВА  
ДЕВОЧКА С ИСТОЧНОЙ

# ШТУДИИ

100 ОЛЕГ ТРУШИН  
ФЕДОР АБРАМОВ:  
НА ПУТИ К «БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ»

# ЗОИЛ

116 РОМАН СЕНЧИН  
СЛИШКОМ ТОНКАЯ ПРОЗА?

# ДЕТСТВО В «ЮНОСТИ»

124 АННА ХРУСТАЛЕВА  
В ПАРИЖ! В ПАРИЖ!

# ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

132 СОФИЯ АГАЧЕР  
ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРИ СЕБЯ



Юность №2  
Февраль 2020

# ПОЭЗИЯ



ЕЛЕНА БЕЗРУНОВА  
Родилась в 1976 году  
в Барнауле. Выпускница  
юридического факультета  
Алтайского государственного  
университета и факультета  
психологии Томского  
государственного универ-  
ситета. В настоящее время  
служит министром культуры  
Алтайского края.  
Автор четырех поэтиче-  
ских книг, три из которых  
(«После таянья льда», 2000;  
«Набросок», 2004; «Ре»,  
2008) вышли в Барнауле  
и одна («Нига ветра»,  
2016) — в Санкт-Петер-  
бурге. После выхода первой  
книги и по итогам семи-  
нара молодых литераторов  
в 2000 году принята в Союз  
писателей России.

\* \* \*

Ненастный свет. Прощеная вода.  
Я между «навсегда» и «никогда».  
Ты между смертью и ее повтором.  
На реверсе, на вечном колесе  
Мы выживаем, кажется, не все.  
...Я прилечу к тебе на самом скором —  
На световом, — а он так невесом,  
Что мне самой останется, как сон,  
Не воплощаться, а висеть на грани.  
На грани между вечным и живым,  
Где Бог в окне смирен и недвижим,  
Как подорожник, прикипевший к ране.

\* \* \*

Пабло Пикассо рисует светом.  
Женщина глядит через плечо.  
То, что нынче называлось летом,  
Все еще лицо мое печет...  
Травы осыпаются сквозь травы,  
Промывая неба решето.  
Твой рисунок — детский и корявый,  
Потому что все разрешено.  
Потому нам и смешно, и грустно  
Мир ваять из маленьких частей,  
Где-то между жизнью и искусством  
Угадать пытаюсь, что честней.  
Светит образ в солнечном пожаре  
(Ты мой сон, а я, должно быть, твой) —  
Одуванчик, девочка на шаре,  
Перевернутый вниз головой.

\* \* \*

Хорошо  
гореть  
бессонницей молодой,  
Когда понял все,  
не вопрошая дважды.  
Боже, я не могу  
напиться твоей водой.  
После крови твоей  
вода не сбивает жажды.  
Хорошо  
притихшей скрипкой  
дышать в чехле  
за твоим плечом,  
от жизни тебя врачую.  
Боже, я не могу  
вкусить твой горячий хлеб.  
После плоти твоей  
я вкуса его не чую.  
Хорошо  
в прихожей темной  
на ржавый гвоздь,  
чтобы болью в лоб  
убить и цвета, и звуки.  
Боже, я твоих слов  
больше не слышу сквозь.  
Только руки твои  
слышу я,  
только руки...

\* \* \*

В прошлой жизни, ты помнишь, я была воином.  
И когда мне башку проломил копьем,  
То река из дыры понеслась так упрямо и вольно,  
Что собою пробила Великий каньон.  
И когда мне потом возвращаться пришлось  
в темноту родового припадка,  
Прикрывая ладошкой в слепой голове незаросший пролом,  
Разве знала она, из советских сестер повивальная бабка,  
Как закрыть  
то, во что ей не верилось  
в будущем светлом своем.  
На младенческой лысой моей голове оставались родимые пятна,  
А потом вырастали забвение, волосы, лен.  
Но когда я стою на ветру,  
то он дует все время обратно,  
Прогоняя коней по хребтам беспокойных времен.  
Отражай белый свет, останавливай  
в воздухе камень.  
Как пружинит земля, будто вздыбленные стремена.  
Через брешь в голове до сих пор  
фиолетовый дождь протекает  
И сочится по радуге, чтоб не увяла она.

\* \* \*

Моя мертвая дочь,  
я зачем-то держу тебя за руку.  
Если руки поднять –  
будет арка моста.  
Останавливайся на мосту,  
не води меня за реку. –  
Тут – сильней высота!  
Тут – звончей провода!  
Мы, воздушные воины радости,  
Поднимаем до неба  
промозглую воду из рек.  
Кто убил тебя, он не хотел,  
он всего лишь не справился.  
Он всего лишь простой человек.  
Чем ты можешь помочь,  
человечьей разлукой прострелена?  
Распускай свои волосы,  
Спи в изголовье зимы.  
Кто из нас кому дочь? –  
Все зависит от точки прозрения.  
Кто из нас кому свет,  
Отнимающий нас у тьмы?..

\* \* \*

Мельтешат мальчишата, девчушки спуют,  
Эти верткие птицы, слетевшие с веток.  
Мы по рельсам России, но это не суть,  
Отбиваем разбег. Улыбнись напоследок?  
Оставайся, попутчица, рыжая в мед,  
Вечной девочкой с мыльными вдрызг пузырями,  
И покуда их гроздь над перроном плывет,  
Не бывать темноте ни с тобою, ни с нами.  
Это вечнозеленое лето кипит,  
Кружит пена листвы, побережья, варенья.  
Посмотри в этот день и не жди повторенья,  
Это все – одноразовый клип.  
Наблюдай, как ты имя теряешь в пути,  
Как танцует в тебе кочевой этот вирус,  
Набирай городов, увози, архивируй,  
На шарах своих мыльных лети.  
И пока мы взбиваем вселенскую пыль,  
Этот шар голубой превратится в планету.  
Потому что из сказки рождается быль.  
И обратного поезда – нету.



АНАСТАСИЯ НИНАШ  
Родилась в Белгороде.  
Работает преподавателем  
в частной школе. Победитель  
VI Международного литера-  
турного конкурса Н.М. Симо-  
нова, лауреат междунаро-  
дного конкурса «Верлибр»,  
Нубна мира по русской  
поэзии (2018), междунаро-  
дного фестиваля «Всемирный  
день поэзии» (2018). Вошла  
в лонг-листы международной  
премии «Белла» и премии  
«Лицей» (2017). Обладатель  
Гран-при «Оснольной лиры»  
(2017). Участник форумов  
молодых писателей.

\* \* \*

Страшен ветер поутру  
В темноте рассветной, зимней.  
Все умрут, и я умру.  
Звездный прищур, призрак жизни.

Шелест белого сукна,  
Шепот паутиной пряжи.  
Лучше ночь и тишина,  
Лучше мрак немой, овражий.

Скрежет ветки о стекло,  
Силуэт случайной птицы...  
Очень мало, глупо, зло,  
Не простит, не повторится.

Замолчи. В листве замри.  
Безголосица и темень.  
Лязг железный, фонари,  
Огонек звезды последней.

\* \* \*

Это пока не страх, но уже тревога,  
Странная трескотня на ФМ-волне.  
Завтра начнешь неистово верить в Бога,  
Видеть себя во сне

Крохотной точкой, букашкой на ветке сливы,  
Вскриком озябшей птицы над темнотой.  
Что-то отныне можно *писать курсивом*,  
Этот итог простой.

Небо в гортани, клекот грозы и боли,  
Крест неумелый на промелькнувший храм  
Это уже не смерть, но еще не воля,  
Что это там.

\* \* \*

Просто так получается темное солнце в зрачке,  
Просто так получается ветер полынный под кожей.  
Что такого в тебе, в человеческом нежном сморчке?  
Что ты все-таки можешь?

Падать в травы и тучи сквозь дерн и холодный песок  
Или спать на земле, распластавшись диковинной птицей.  
Ощущать, как дрожит над водой голубой лепесток,  
Паутины ресница.

Сонный трепет в груди, ощущение жизни сквозь мрак,  
Хаотичность движения, речи немая преграда..  
Прорастает сквозь мир человек, как неловкий сорняк  
На окраине сада.

## ЭКЗАМЕН

Мне говорят «садитесь», и я сажусь.  
Руки кладу на колени, сердце сжимаю страхом.  
Вроде бы все приучено наизусть,  
Вроде можно раз и единым махом

«Пуф» и закончить этот железный день  
(Рельсы и шпалы, ложек буфетный скрежет).  
На стене плакат, видна только буква «е»  
И значок корня или суффикса между

Э – говорю, 0 – говорю потом.  
Слова стучат каблуками где-то по коридору.  
Что-то неладно со звуком, какой-то шторм  
Внутри меня – немое и злое море.

Мне повторяют «смелее, мы все вас ждем»  
Я сжимаю ладони и увязаю.  
В эфире шуршит «прием, твою мать, прием!»  
Прекращай тонуть, ты до сих пор живая».

Я удивленно моргаю (пытаюсь сморгать слезу).  
Потолка уже нет, и видно, как небо тлеет.  
Звезды шипят от боли, а я внизу  
Им улыбаюсь понимающе еле-еле.

Значит, экзамен провален уже давно,  
Сказанное не знает своей границы.  
Экзаменатор захлопывает окно,  
Я успеваю увидеть правильную страницу.

\* \* \*

Да будет свет,  
Вода  
И ржаная корка,  
Кусачий ветер,  
клочья небесных штор...

Закоченела ночью крутая горка,  
Бери ледянку и выходи во двор.  
Пока соседи греют свои перины,  
Пока собаки ловят котов во сне...  
Пойдем смотреть, как нянчится жизнь с другими,  
Как ночь рисует сажей глаза луне.  
Сегодня будет проще сорваться с краю,  
Глотнуть лиловой траурной мерзлоты.

Да будет тьма,  
Хрустящая соль земная,  
И лед некрепкий,  
И над водой мосты.

Бери ледянку. Круг размыкают после,  
Когда теряют смысл и вкус слова.  
Наш Бог он взрослый,  
Он безвозвратно взрослый.  
Его не вместит детская голова.

Да будет мир,  
Зеленая вязь созвездий,  
И гул подъезда,  
Речь без гортанных фраз.

Да будет жизнь  
Без золота и без меди,  
Без слез,  
Без смеха,  
Без перемен.

Без нас.

# БОЛЬНИЧНОЕ

1

На скамейке сядешь под каштаном,  
Смотришь на сороку и молчишь.  
И во рту трепещущая рана  
Замирает, как под полом мышь

Мне-то что? Болей. Ведь все для дела:  
Судорога,  
Кровь в платок (тьфу-тьфу).  
День как марля – тоненький и белый  
Тканево бормочет на ветру.

2

Суп похлебаю. Картошку уже ни-ни.  
Хлеб крошу галкам и воробьям.  
Медсестра курит в кленовой тени,  
У забора просачивается бурьян.

Тело уже изъян, причем неизлечимый –  
Его не заколешь до нормального состояния.  
Люди снаружи всегда торопятся мимо.  
Господи, ты хоть не ковырай меня!

3

Мама, мамочка, послушай теперь меня!  
Я не умру уже. Здесь на исходе дня  
Старики на лавочках режутся в домино.  
Меня порезал врач – и хватит.

Комары влетают в окно.  
Жужжат над ухом, но крови совсем не пьют.  
Компот из сухофруктов, палаты зеленый уют.  
Мне это очень близко, я тут совсем своя,  
Стою на улице и не помню, кто окликал меня.

Утром поставим свечку, я помолюсь о том,  
Чтобы звенел комар ночью под потолком,  
Чтобы под понедельник сняли тугие швы,  
Чтобы лежать во сне, словно в руках травы.

# ПОВЕРХ ПРИСТРАСТИЯ

Не скрою, Сергей А. Калашников вот уже три года как студент моего семинара поэзии, и, возможно, я пристрастно отношусь к его дарованию. Но и, поверх пристрастия, его одаренность для меня очевидна, как несомненно и то, что он к тому же обладает счастливым свойством – «волей к тексту», столь необходимой для творческого становления и осуществления: он не только много пишет, не только выплескивает некий избыток образов, наблюдений, эмоций, за счет которых его стихи бывают очень длинными, но и работает над тем, чтобы конструкция их была компактнее и прочнее, море разлитое слов обрело твердое русло, а сами слова становились по своим местам, в согласии с телеологией стихотворения – образным рядом, смыслом и интонационным рисунком. Какие чудесные образы появляются у него! Но дело даже не в отдельных образах, а в том колорите, в той кантилене, которую они создают. Здесь множество зримых, выписанных деталей, из которых выстраивается картина мира, которая, однако, не «заземляется», не сводится исключительно к ним: почти в каждом стихотворении действует некий рычаг «претворения», выводящий его образ за рамки наличной реальности. Задувают метафизические сквознячки. Грубо говоря, для того чтобы из мальчика / девочки с литературными способностями получился поэт, необходимы три вещи: само это дарование, творческая воля и судьба. Они непрестанно взаимодействуют: от ослабления воли талант чахнет, от оскудения таланта хромает судьба, ложный выбор судьбы запинаят волю. Но воля, как добрый садовник, может приумножить талант, талант – обогатить судьбу, выстроив для нее собственный мир, а судьба – подарить творческой воле множество новых возможностей. Вот этого я и желаю Сергею А. Калашникову.

*Олеся Николаева*



СЕРГЕЙ НАЛАШНИНОВ  
Родился в 1996 году в городе Павлово Нижегородской области. Три года учился в Московском техническом университете связи и информатики, ушел оттуда и поступил в Литературный институт имени А.М. Горького на семинар Олеси Николаевой.

# ВПРОЧЕМ, МИР

\* \* \*

И если на болотах торф горел,  
вливался дым со стороны болота.  
Он комаров будил и бардов грел.  
На шум берез, шумящих отчего-то,

Туман плывет, окутывая их,  
и скоро в нем сорвет струну колодца.  
Под вальс-бостон в торфяниках твоих  
пожарная сирена захлебнется.

И вытянет на карте мировой  
как ниточку одну шестую света.  
За первым, что отправился домой,  
пойдет второй, и все исчезнет следом.

\* \* \*

Впрочем, мир разрушается, начиная с дома.  
Краска темнеет, травой зарастает местность.  
На ржавой трубе неподвижным облаком дыма застыв, ворона  
оглядывает окрестность.

Вокруг запустение, ставни покрыты пылью,  
впрочем, это не признак, скорее, деталь пейзажа.  
Последний живой подсолнух, взятый в котел польню,  
ждет абордажа.

В каждом отрезке дома или предмете быта  
виден удачный блицкриг природы, близость апофеоза.  
Лежащая возле порога подкова, переплетенная аконитом,  
как вынужденная угроза.

Дорога теряется под шагами идущего к точке старта.  
Стирается дом, водит яркой иглой меж столбов ветвистых  
встающее солнце, сшивая пейзаж, и облака как вата  
в руках у таксидермиста.

# РАСФОКУС

## I

Вдоль заново отстроенных домов,  
в забытых прошлым надписях в застенках,  
над мастерской – здесь был «Ремонт часов» –  
в ее часах и в их секундных стрелках  
пространство затихает по ночам,  
как продавщица в местном продуктовом,  
что заучила всех односельчан –  
возможность, предоставленная словом,  
использована, к пришлому лицу  
нет интереса, что всех помнить толку?  
В попытках влиться – новому жильцу  
чем привыкать, сподручней вырвать глотку  
и повторять свой круг по часовой,  
движения по улицам притихшим,  
и завершить в молчании, как бой  
часовщика со временем застывшим.

## II

Здесь схожесть судеб ясно сознают  
лишь те, кто покидают этот город.  
Их взгляд назад на быстрый бег минут  
с началом каждой новой множит холод –  
чем тоньше связь, тем беспристрастней суд  
над прошлым; время, сдавливая горло,  
меняется, накладывает жгут  
на место прежде грубого прокола,  
который за сомнения в своей  
разнообразной цели подарил.  
Здесь можно, как на жизнь других людей,  
на собственную – в то, что раньше было,  
смотреть – сквозь крик явления на свет  
к детали – запах кожаной обивки.  
В ней черная тоска из прошлых лет  
сменилась грустью, затемнив на снимке  
коляску, голубой автомобиль,  
большие санки, спящие в квартире,  
и книгу сказок – ту, что полюбил,  
за то, что ничего не знал о мире:  
сквозь шум открытых окон по ночам,  
пока за ними таял день вчерашний,  
я строил мир со сказочных начал  
как лестницу для выдуманной башни.

## III

Мне все пустое в городе людей –  
здесь жизнь была, и площадь городская  
стучала и звенела в первый день.  
Где раньше открывалась мастерская  
пустой киоск, что близко к «ничего» –  
у времени, которым был основан  
есть город, а молчание его –  
возможность, отнимаемая словом.

## ТАНЦЫ

Если музыка повторяется раз за разом, и музыканты  
те же, улыбаются, приглашают, гармонируют, вьются, злятся –  
как объяснить тебе, что согласие, данное однократно,  
упрощает каждое последующее? Танцы, танцы.

Повторение есть желание, центр, суть развращение эго –  
не процессы, но чувства – частные, давние, важные обоюдно.  
Жаль, что прошлому без повторов хватило замков и снега.  
Ты уходишь, и здесь впервые мое одиночество абсолютно.

Ветер в твоей руке, шелест кассетной пленки, переписывающей фестиваль  
номер, сила импульса постоянно-условна.  
Да, единственный танец, увидимся. Смеются. Полет нормальный.  
Лети, лети, лепесток. Возвращайся, так я смогу попрощаться снова.

В новый круг попрощаюсь, заново сохраняя  
то же самое – с каждым повтором все меньше толка.  
Будто воспроизводят съемку – кассета трется, перематывается, заедая.  
Господи, как тяжело уходить надолго.

Навсегда остаюсь неважным, никого здесь не будет, только  
здравствуй, вечное солнце, нам пора навсегда простаться.  
Отвернись и замри, движение завершив, чтоб лицо не сжевала пленка.  
Обрывается лента-жизнь.  
Танцы, танцы.



| Юность №2  
Февраль 2020

# ПРОЗА

# СКВОЗЬ БОЛЬ



ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ  
Поэт, прозаик, переводчик, один из основателей СМОГа. Родился в 1946 году в Перми. Онучил отделение истории и теории искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Автор множества книг стихов и прозы. Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Живет в Москве и Нонтебеле.

– Эй, борода!

Метель гуляла по всей округе, слепила глаза пронзительной, неистойвой белизной, заметала, на фоне вечернего, темного, с белыми вспылками, завихрениями, зигзагами, кругами, спиральями, неба, затихшие, однообразные, то длинные, горизонтальные, то высокие, вроде башен, столбчатые, реже – кирпичные, чаще – блочные, густо стоящие на пути моем зимнем, дома.

Я с трудом оглянулся – сквозь снег – на незнакомый голос.

(Был конец января. Среди скитаний, измотавших меня основательно, надоевших, – был мой день рождения. Тридцатилетие. То-то вспомнилось мне почему-то посвященное этой же дате особенное, открытое всему ранимому сердцу, и душе, и судьбе, и зрению, и памяти, миру земному и небесному, стихотворение Дилана Томаса, только речь в нем была об осени валлийской, об октябре. Ну а мой день рождения был – бездомным, в московской, зимней круговерти. Куда деваться? И куда мне идти? Ночлега, на ближайшее время, не было. Ночевать в подъезде каком-нибудь, потеплее, снова придется? Да, наверное. А возможно, в чьей-нибудь мастерской подвальной, если будет радость такая. Пусть в подвале, но – не на улице. А на улицах, белых от снежной, налетевшей, метельной стихии, ветер дул, разгулявшийся так, что, казалось, он не

затихнет, ошалевший, уже никогда. Словом, зимней была погода. Не в укор это ей. Не оду сочиняю. Не без труда я наскреб какие-то деньги и купил на них сигареты, две бутылки сухого вина, подешевле, буханку хлеба. Денег еле хватило на это. Оставалось немного мелочи – на автобусы, на метро. Положив покупки в портфель, где лежали книги и рукописи, я побрел по холодной улице, наугад, куда-то вперед. Шел и шел. Впереди забрезжила, сквозь метель, поначалу Пушкинская, с занесенным хлопьями снега, одиноко стоявшим памятником солнцу русской поэзии, площадь. А потом, в просвете случайном посреди пелены снеговой, вдруг разорванной ветром, хлестким, ледяным, – Маяковская, дымная, в едкой мгле сизоватой, площадь.

Я подумал: пойду-ка к Нике Щербаковой. Идти недолго. Обогреюсь. И отдышусь. А потом – что-нибудь придумаю. Может быть, меня осенит – и ночлег найду, на сегодня, где-нибудь. Не ходить же мне бесконечно всюду по городу. Не стоять же мне на морозе и не мерзнуть. Вначале надо, разумеется, позвонить. Я нашел две копейки в кармане. И зашел в унылую будку, называвшуюся лаконично, выразительно, словно символ всеобщей связи мировой: телефон-автомат. Позвонил. Раздались гудки. А потом я услышал – голос, бесконечно знакомый:

– Але!

Ну конечно же, Толя Зверев!

- Толя, здравствуй!
- Ты где, Володя? У тебя день рождения. Помнишь? Я у Ники. И жду тебя. Поскорей приезжай. Хорэ?
- Я поблизости, на Маяковке. Жди меня. Я скоро приду.
- Жду. Хорэ!

Положил я трубку.

И пошел, сквозь метель, вдоль ограды занесенного снегом, безлюдного, словно в спячке, сада «Аквариум», а потом – мимо Малой Бронной, прямо к Никиному, желтеющему сквозь нахлесты снежные, дому.

Поднялся на верхний этаж. Позвонил. Дверь квартиры открылась. На пороге стоял улыбающийся Толя Зверев. С бутылкой в руке. Этикетка на этой бутылке говорила о многом: коньяк.

- Здравствуй, Толя!
- Здравствуй, Володя! Заходи.

Я зашел в квартиру. Было в ней непривычно тепло. Я, похоже, отвык от тепла. Ничего, теперь-то – согреюсь.

Вслед за Зверевым в коридоре появилась томная Ника:

- Я так рада! Здравствуй, Володя! Проходи скорее за стол.
  - Здравствуй, Ника!
- Зверев сказал мне хрипловато:
- Пойдем, пойдем!

Сняв пальто, я зашел в просторную, сплошь завешанную картинами авангардными, с артистическим и с богемным уклоном, комнату, очень теплую, где сидели за столом какие-то двое, незнакомые мне. Высокие. Чисто выбритые. В костюмах. Разумеется, оба – с галстуками. Только лица их – я не запомнил. Невозможно запомнить такие, без примет характерных, лица. И хотя они, церемонно и приветливо даже, представились, имена их, невыразительные, почему-то я не запомнил.

Я присел за стол. Толя Зверев мне налил стакан коньяка. А себе – половину стакана. Незнакомцы – налили себе водки, в маленькие, с наперсток, рюмки. Ника – себе налила персональный бокал шампанского.

Толя Зверев сказал:

- У Володи – день рождения. Поздравляю. Ты, Алейников, – гениальный, я-то знаю об этом, поэт. За тебя я сегодня пью. Будь. Живи. И пиши. Ну, выпьем!

Все сидящие за столом, на котором стояло скромное угощение и бутылки с водкой, с винами и с шампанским, оживились – и тут же выпили.

Шло застолье. Царила здесь, как обычно, хозяйка – Ника.

Я согрелся. Коньяк ли зверевский или что-то еще подействовало – но действительно, стало тепло мне, хорошо. И я закурил. Огляделся по сторонам. Да, салон известный московский. Вдосталь здесь побывало народу. Ника всех принимает охотно. Каждый день – все новые гости. Все привыкли к ней приходить. Как-никак, есть возможность общения. Для богемы у Ники – лафа. Выпить можно. И закутить. Посмотреть картины. Послушать, иногда, стихи. Поболтать – об искусстве, да и о прочем. Словом, дом для бесчисленных встреч.

Незнакомцы с Никой – о чем-то говорили. Довольно тихо. Я прислушиваться – не стал. Если надо – пусть говорят.

Мы со Зверевым вышли в соседнюю, совершенно пустую комнату.

Зверев как-то весь посерьезнел, наклонился ко мне – и тихонько, еле слышно, сказал, нет, выдохнул напряженно:

- Она шпионка!
- Кто? – не понял я.

Зверев:

- Ника!
  - Почему?
- Зверев, твердо:

- Я знаю!
- Брось!
- Ей-богу! Она работает – ну, на этих, на кагэбэшников.
- Правда?
- Правда!
- Зачем же, Толя, мы с тобой находимся здесь?
- А куда нам с тобой деваться? Бог не выдаст, свинья не съест.

Стало как-то не по себе.

Я сказал:

- Может, выпьем снова? У меня есть в портфеле вино.
- Да оставь ты свое вино! Пригодится еще. Смотри! – Зверев вытащил из-за пазухи флажку виски. – Давай – из горла!
- Что ж, давай!

Мы со Зверевым – выпили.

Между тем появились в комнате, где со Зверевым мы вдвоем разговаривали, отпивая по глоточку виски из горлышка, незнакомцы и Ника.

Сказала нежным голосом Ника:

- Мальчики! Нам пора. Вы поедете с нами? Едем мы – на такси. Подвезем вас куда-нибудь, в нужное место.

Я подумал: вечер уже. Подвезут куда-то – и ладно.

И сказал я Нике:

- Поедем. Где-нибудь по дороге – сойду.

Зверев только взглянул на меня – и вздохнул. Ничего не сказал.

Собрались мы быстро. И вышли – прямо в вечер, в снега, в метель.

У подъезда стояло такси. Забрались мы вовнутрь. Поехали.

Толя Зверев – молчал. Я – молчал. Незнакомцы – молчали. Машина пробиралась сквозь снег, с трудом, осторожно. Молчала и Ника.

Так мы ехали долго – молча.

Я потер стекло запотевшее. Посмотрел – вроде что-то знакомое. Преображенская площадь.

Вдруг Зверев затрепетал, дверь рванул – и рывком, стремительно, выскочил из машины.

Я крикнул ему:

– Ты куда?

Он, в ответ мне, крикнул:

– Я к шурина!

И пропал. Растворился в метели.

Незнакомцы – молчали. Ника обратилась ко мне внезапно:

– А тебе, Володя, куда?

Я ответил ей:

– Здесь я выйду. Навешу-ка Оскара Рабина.

Незнакомцы – переглянулись.

Ника:

– Ладно. Привет Оскару. До свидания!

– До свидания!

Выбрался я – в метель. Машина – тут же уехала.

Постояв на заснеженной площади, я побрел потихоньку – к Рабину.

Оскар был тогда – под присмотром. Собирался он уезжать на Запад. Еще не уехал. Возле дома его, где жил он, на первом, таком доступном этаже, постоянно дежурили какие-то наблюдатели.

Я все это – знал. И все же – не мерзнуть же мне в метели! Оскар – человек хороший, приветливый. Навешу его. Есть в портфеле моем вино. Обогреюсь. Выпьем немного. И, конечно, поговорим. Есть о чем ведь. А там – куда-нибудь доберусь еще. Ночевать, где придется, давно привык я. Надо сил хоть немного набраться. Успокоиться. Вон как метет! Ну и снег! Настоящий, январский!..

Шел я к дому Оскара Рабина. Вот и дом. Длинный, блочный, скучный. И на первом – я вижу сразу же так отчетливо – этаже – теплым светом горит окно. Значит, дома Оскар. Прибавлю ходу. Ну, поскорее – к цели!..)

Голос сзади:

– Эй, борода!

Оглянулся я. Позади – обозначились две фигуры. Незнакомые люди. Высокие.

– Эй, ты слышишь? Куда идешь?

Отмахнулся я:

– Вам-то что? Ну, иду. К своему знакомому. Поточнее сказать? К художнику...

Это – все, что успел я сказать.

Сокрушительной силы удар – получил я в висок. И тут же рухнул в снег, потеряв сознание.

Сколько было потом ударов, как там били меня – не помню.

Да и как мне помнить об этом, если был я тогда без сознания?

Неужели настала – смерть?..

Я очнулся, когда – не знаю, где – не ведаю, в доме каком-то незнакомом, в гулком подъезде, вниз головой, на лестничном, пустом и холодном проеме.

Почему оказался я здесь?

Кто меня закинул сюда?

Ни портфеля, ни документов. Ничего нет. Карманы – вывернуты. Шапки – нет. Шарфа – тоже нет.

Боль была – действительно адской.

Голова моя – просто раскалывалась.

Все избитое тело – болело.

Надо было – как-то спастись.

Надо было – отсюда выбраться.

Я пополз, сквозь боль, по ступенькам.

Ниже, ниже. Еще немного.

Вот и дверь подъезда. Открыл ее. Удалось. Хотя и с усилием.

Выполз – в снег. В сугробы. Пополз дальше. Встать я не мог. Все – болело.

Полз я долго. Куда-то. Вперед. С передышками. Дальше и дальше. В снег. Сквозь снег. Сквозь метель. Сквозь ночь. К жизни. К людям. Упрямо. Сквозь боль.

Над моей головой разбитой, резко, с визгом затормозив, остановилась какая-то машина. Шофер метнулся из машины – ко мне:

– Что с вами?

Говорить я не мог. Было больно.

Я с трудом прошептал:

– Избили...

– Может, вас отвезти куда-нибудь? Например, домой к вам. Поедем?

Дома не было у меня своего. И сказать об этом шоферу я стеснялся. Небось, подумает: «Ишь, какой бездомный бродяга! Ну, избили его. По пьянке. Что ж, бывает. А я-то при чем?»

Наклонился шофер надо мной, стал меня поднимать:

– Вставайте! Потихоньку. Вам надо встать.

И в глазах его я увидел и участие, и заботу, и немалое сострадание человеческое. И начал под-

ниматься. Шофер помогал мне. Так на фронте, на-  
верное, порой помогали друг другу солдаты.

И шофер меня снова спросил:

– Ну, куда вас везти? Говорите!

Говорить было трудно мне. Но сказал я шоферу:

- К Сапгиру!
- Что? Куда? – не понял шофер.
- Отвезите меня к Сапгиру!
- Вы бредите? Что за Сапгир? Кто же вас так из-  
бил?
- Не знаю... Сапгир – друг Рабина.

В моем сознании брезжило лишь это: Рабин – Сап-  
гир.

– Довезу. Дорогу покажете?

– Постараюсь.

Шофер помог мне забраться в машину и лечь на  
бок за заднем сиденье.

Я сказал:

- Денег нет у меня.
- Да какие там деньги! – шофер отмахнулся. – Вам  
надо в больницу!
- Нет, к Сапгиру, – упрямылся я.
- Хорошо. Поедем к Сапгиру. Кто такой он?
- Поэт.
- Поэт? Ну а вы?
- Я тоже поэт.

Покачал головой шофер:

– И зачем же так бьют поэтов?

Я ответил ему:

– Не знаю...

Долго ехали мы. Я смотрел, временами, с трудом,  
за окошко. Говорил: «Сюда... Вот сюда...»

Наконец добрались мы до дома, где жил тогда  
Генрих Сапгир.

Я сказал шоферу:

- Спасибо!
- Он ответил:
- Держитесь, поэт. Выздоровливайте скорее. Да,  
а как вас зовут?
- Владимир.
- А фамилия ваша?
- Алейников.
- Тот, из СМОГа?
- Именно тот.
- Был я как-то на вечере вашем. Лет, пожалуй,  
десять назад. Вы читали стихи. Хорошие. Толь-  
ко были вы – без бороды, молодым совсем. А те-  
перь – с бородой. Я люблю стихи. Вы отличный  
поэт. Я помню кое-что. Ну хотя бы вот это, да,  
вот это: «Когда в провинции...»

Я продолжил тогда:

– Болеют...

И шофер, вздохнув:

– Тополя...

Я махнул рукой:

– Это – старое...

А шофер сказал:

– Но живет!..

Он помог мне выбраться в ночь из машины. По-  
жал я руку моему спасителю. Он, помахав мне рукой,  
уехал.

Я стоял во дворе пустынном.

Слава богу, первый этаж. Высоко подниматься не  
надо.

Дверь в подъезд я открыл с трудом. Вот и дверь  
квартиры сапгировской. Поднапрягшись, я позвонил.

Дверь открылась. В проеме дверном появился  
Генрих Сапгир.

Он взглянул на меня – и глаза его переполнились  
явным ужасом.

– Генрих, здравствуй! – сказал я Сапгиру. – Помог  
мне сейчас. Пожалуйста.

– Что с тобой? – воскликнул Сапгир. – Кто же так  
тебя страшно избил?

Я ответил ему:

– Не знаю. Обо всем – попозже, потом...

Генрих помог мне войти в квартиру. Но в комнаты  
я не пошел. Добрался до кухни. И – рухнул там на  
пол, навзничь, потеряв сознание вновь.

Сколько так пролежал я – не помню.

Приоткрыл глаза. Посмотрел – да, похоже, утро.  
Светло.

Значит, жив я. Действительно, жив!

Раздались голоса. Знакомые. Генрих что-то там  
говорил обо мне с женой своей, Кирой.

Кира властно сказала Сапгиру:

– Дай Володе десятку, Генрих, на такси. И пусть он  
отсюда убирается поскорее!

Так. Понятно. Я лишний здесь.

Что возьмешь с нее? Это ведь – Кира. Наплевать  
ей, видимо, нынче на мое состояние. Надо подни-  
маться. И встал я на ноги.

В кухню зашел, с десяткой в руке, смущенный  
Сапгир:

– Володя, вот – на такси.

– Все я слышал, – сказал я Сапгиру. – Не волнуйся.  
Скоро уеду.

Взял десятку. Сказал:

– Верну.

Отмахнулся Генрих:

– Не надо!

Я сказал:

– До свидания, Генрих! За приют, за помощь – спа-  
сибо. Постараюсь преодолеть наваждение это.

Поеду. Где-нибудь, у кого-нибудь – отлежусь. Надеюсь, что примут.

И сказал мне Сапгир:

– Держись!

И ответил я:

– Буду держаться!

Дверь открылась. Я вышел – в снег.

И побрел – сквозь сугробы – вперед.

На такси – кое-как доехал до знакомых. Там – отлежался. Правда, долго пришлось лежать. Сотрясение мозга – не шутка. Да еще такое, устроенное, безусловно, профессионально, без буллы, со знанием дела. Должен был я боль – победить.

Победил. Отшумели метели.

Паспорт – новый пришлось получать, вместо прежнего, что исчез, вместе с рукописями моими, вместе с книгами, вместе с портфелем. Шапку – кто-то мне подарил. Шарф нашел я прямо на улице. Голова – болела порой. Очень сильно. Бывали кризисы. Поднималось давление так, что, бывало, хоть криком кричи. Все я вытерпел. Преодолею. Боль. И всю череду бездомии. Все нелепости, наваждения прежних, сложных, суровых лет. И минувшей эпохи – нет. Есть – лишь память. И – жизнь. И – речь. Время – вправду материально. Потому что живет в нем – творчество. Может, жречество? Змееборчество. И – огни негасимых свеч.

...В середине семидесятых. Мы – в квартире зверевской, в Свиблове, или в Гиблове, так его Толя называл обычно, и это подтвердилось – в этой квартире он потом, через годы, и умер. Или, может, погиб. Все могло с ним случиться. Ходил он по краю бездны некоей, хорохорился и бравировал этим, но знал, очевидно, всегда наперед, что с ним все-таки произойдет.

Мы – вдвоем. «Ты, Володя, с портфелем, и поэтому мне с тобой здесь, в Москве, намного спокойнее!» – приговаривал Зверев частенько. Я – бездомничал. Зверев – маялся, тяготился своим одиночеством, при его-то обширных знакомствах, находится боялся один и на улицах, и в квартирах. Мы бродили, вдвоем, по Москве. Ночевали всегда – где придется. Там, где пустят нас на постой. Я – стихи читал. Он – рисовал. Отрабатывали ночлег. Утром – снова куда-то ехали или шли. И так – месяцами. И годами даже. Привык я к жизни трудной своей, кочевой. А вдвоем – веселее. Обоим. И спокойнее, это уж точно. Двое – сила. Десант. Отряд. Наша двоица, он – художник, я – поэт, надежной была. Мы дружили – как на войне. Шли геройски – сквозь все сражения. Фронт – повсюду был. Приходилось воевать. Он – ки-

стью, я – словом. К неприятностям быть готовым приходилось. К невзгодам. К бедам. И тянулся за нами следом приключений длиннющий шлейф и событий, и происшествий непредвиденных. Но вдвоем было проще нам выстоять. Выжить.

Мы сидели в квартире зверевской, словно в крепости неприятельской. Зверев то к чему-то прислушивался, словно чуял близких врагов, то смотрел за окно. Из ванной доносился запах противный. Заглянул я туда. Увидел: ванна, доверху, вся, наполнена отмокающей в ней одеждой. Посмотрел я на Зверева. Он отмахнулся – мол, пусть, так надо.

Я достал из портфеля бутылку припасенного мною вина, половину буханки хлеба.

Зверев, жестом лукавого фокусника, тут же вынул откуда-то, может – из-за пазухи, может – из шкафа, ну а может – и прямо из воздуха, фляжку плоскую коньяка. И принес два граненых стакана. Постелил на столе газету. Положил на газету хлеб – нашу с ним и еду, и закуску. Коньяком наполнил стаканы, аккуратно, до половины. Мы степенно с ним чокнулись, выпили. Закусили хлебом. Потом – закурили, я – сигарету, он – сигару. Стало теплее. За окном шел осенний дождь. Мы курили – и говорили. Для бесед неспешных всегда было тем у нас предостаточно.

Помню, речь шла о том, что осень скоро кончится. В этом Свиблове застревать надолго нельзя. Могут вдруг нагрянуть менты. Или кто-нибудь пострашнее. Надо было что-то придумать. Поисковать понадежней пристанище. Оставаться здесь нам – опасно.

И спросил я тогда то ли Зверева, то ли, может, силы небесные:

– Что потом?

– А потом – зима! Снег выпал, а я взял и выпил! – Зверев шурился на меня, улыбаясь, хитрящий, веселый. Взял бумагу и акварель, набросал на листке кого-то с бородою: – Вот Дед Мороз!

Я сказал ему:

– Да, похож.

Зверев быстро взглянул на меня. Набросал акварелью, быстро, мой портрет:

– Посмотри. Это – ты.

Я взглянул:

– Да, очень похож.

Со стола на мои коленки, покотившись, упал карандаш. Я успел его удержать, положил обратно на стол.

Были джинсы мои разорваны на коленках. И Зверев это – разглядел. Поднялся рывком. Распахнул обе дверцы шкафа. В нем висели костюмы, брюки, пижамки, совершенно новые, заграничные сплошь.

Ночевали всегда – где придется. Там, где пустят нас на постой. Я – стихи читал. Он – рисовал. Отрабатывали ночлег. Утром – снова куда-то ехали или шли. И так – месяцами.

Гардероб у художника был солидным. Все – добротное, про запас, впрок. Потом, глядишь, пригодится.

Зверев краешком глаза взглянул на меня. Выбрал серые брюки. Протянул их мне:

– Вот, надень. От Костаки. Английские. Крепкие. Подойдут как раз. Надевай, прямо сверху, на джинсы. Дарю.

Вышел я в коридор. Натянул эти брюки прямо на джинсы. Возвратился, в обновке, в комнату:

– Ну, спасибо, Толя. Подходят.

Отмахнулся Зверев:

– Шмотья предостаточно у меня. За картинки мои дают. Я – беру. И ношу. Годидзе! А тебе теперь будет теплее. Вон какая погодка на улице! Так и хлещет холодный дождь.

За стеной раздалось какое-то подозрительное шуршание.

Зверев сразу насторожился:

– Надо сваливать. Поскорее!

Я спросил:

– Почему?

И Зверев мне ответил:

– Везде – враги!

Он достал из шкафа пальто заграничное – и надел его на себя, на грязный пиджак, заграничный. Достал ботинки, заграничные тоже, английские. Вмиг обулся. Захлопнул шкаф, на котором, сверху, лежали, громоздились, до потолка, вперемешку, его работы разных лет. Солидный резерв. На продажу. На всякий случай. Пригодятся небось, потом.

Я набросил куртку:

– Пойдем. Но куда? На улице – дождь.

Зверев, кратко:

– Поедем к старухе.

Потихоньку, словно разведчики, два героя, в тылу врагов, пробрались мы с Толей из гиблого дома этого – прямо на улицу. Там хлестал разгулявшийся дождь.

Мы нашли телефон-автомат. Зверев в будку зашел. Позвонил. И сказал:

– Мы скоро приедем.

Я спросил:

– На метро поедем?

Зверев поднял бровь:

– На такси!

Сунул руку к себе за пазуху – и достал толстенную пачку четвертных, десятирублевых и пятерок. Сунул обратно, да поглубже. Заржал довольно. И, торжественно:

– Деньги – есть!

Я пожал плечами. А Зверев ухмыльнулся:

– Хорэ, хорэ!

Впереди – огонек зеленый замаячил. В таком районе захудалом – и вот, пожалуйста, приближается к нам такси.

Зверев быстро махнул рукой. И машина – остановилась. Мы залезли вовнутрь. Поехали. На вопрос шофера: «Куда?» – Зверев кратко ответил:

– В центр!

(Старухой Зверев обычно называл Оксану Михайловну, вдову поэта Асеева, одну из сестер Синяковых, в которую был влюблен. Мы со Зверевым навещали иногда ее. Но обычно приезжал к ней Толя один. Дорожил он этой любовью. Необычной. Ведь все у него необычным было, особенным. И, конечно, его любовь. Была Оксана Михайловна старше Зверева лет на сорок. Но разве возраст – преграда для любви настоящей? Нет. Пять сестер Синяковых были знаменитыми. Встарь – дружили с футуристами. В Красной Поляне, что под Харьковом, в их имении, все когда-то и началось, там истоки всего авангарда, позже так набравшего силу, что питают его отголоски и доселе подлунный мир. Хлебников, показав на Оксану, сказал Асееву: «Вот твоя жена!» И Асеев на Оксане сразу женился. Жили супруги вместе почти половину столетия. Асеев умер. Оксану полюбил неумемный Зверев. Началась такая любовь, что о ней вся Москва говорила. Зверев, пьяный, рвался в квартиру и выламывал дверь. Оксана вызывала ментов, причитая: «Дорогие милиционеры, вы не бейте его, пожалуйста, берегите руки его, я прошу, он великий художник!» Менты увозили Зверева – и, разумеется, били. Он опять приезжал к любимой. И она – впускала его. Рисовал он ее – непрерывно. Были сотни ее портретов, на которых Оксана – сияла несравненной своей

красотой. Толя Зверев о ней заботился. Он любил готовить. Однажды он сварил ей вкуснейший борщ. И сказал Оксане: «Поешь!» Почему-то она отказалась. Толя – вылил кастрюлю горячего борща на Оксану. Потом взял свою любимую на руки – и понес ее в ванную, чтобы отмывать. И отмыл. И Оксана еще больше с тех пор любить стала Зверева. Он хранил у нее работы свои. Много папок. Оксана Михайловна продавала их постоянно и тем самым ему помогала. Продавала – по триста рублей. Вместо всем привычной тридцатки. И висели на стенах асеевской, в самом центре Москвы, квартиры изумительные портреты драгоценной зверевской женщины, златовласой Оксаны Михайловны. И любовь была небывалой, расцветающей всеми красками, пылкой, страстной, с криками, с драмами, с поцелуями и с объятиями, обоюдной, – такой и останется, полагаю, она – в веках.)

Мы приехали в центр. Пришли, оба – выпив слегка, но трезвые, по тогдашним нашим понятиям, в гости к зверевской даме сердца, драгоценной Оксане Михайловне. Поздоровались с ней. Она рада нам была. Пили чай. Говорили. Зверев смотрел на нее глазами влюбленными. А потом и сказал:

– Володе негде жить!

Всплеснула руками в тот же миг Оксана Михайловна:

– Как же так?

Зверев – ей:

– Он бездомничает.

– Ах! – сказала Оксана Михайловна. – Что же раньше вы мне не сказали? Почему вы, Володя, стесняетесь? Вы такой хороший поэт. И, выходит, вам негде жить?

Я сказал:

– Да, так получилось.

Зверев буркнул:

– Володя – гений! Как и я. Мы с ним оба – гении.

– Ах! – сказала Оксана Михайловна. – Понимаю, все понимаю. Постараюсь что-то придумать.

Позвонила она кому-то из знакомых:

– Ольга Густавовна! Добрый день. Это я. Звоню вам я сегодня по важному делу. У меня здесь Володя Алейников. Он хороший поэт. Толя Зверев говорит, что Володя – гений, как и Зверев. И вот, представляете, он бездомничает. Да, Володе негде жить. Совершенно негде. Может, вы приютите его у себя? Ну, хотя бы на время. Что? Согласны? Даю ему трубку. Протянула мне муза зверевская телефонную трубку. Сказал я по возможности вежливо:

– Здравствуйте!

И услышал:

26

– Володя, здравствуйте! Говорит с вами Ольга Густавовна Суок. Вдова Юрия Карловича Олеси. Оксана Михайловна рассказала мне все. Приезжайте ко мне. Живу я одна. Буду рада вам. Поживите у меня. Да подольше. Потом будем думать, как дальше вам быть. Жду. Сегодня же – приезжайте!

Я сказал:

– Спасибо огромное. Постараюсь приехать к вам.

Положил я трубку. Смущение вдруг нахлынуло на меня.

А Оксана Михайловна, радуясь, что помочь мне, поэту бездомному, сегодня ей удалось, на клочке бумаги писала адрес Ольги Густавовны:

– Вот. Вы найдете, Володя. Держите.

Взял я адрес.

А Зверев мне:

– Поезжай. Поживи в нормальных, человеческих то есть, условиях. Отдохнешь. Наберешься сил. Может, что-то напишешь новое. А потом я тебе позвоню. Мы еще, и не раз, увидимся.

Чай был выпит. Я стал прощаться.

И сказала Оксана Михайловна:

– Приходите ко мне почаще!

И сказал мне Зверев:

– Хорэ!

Вышел я из подъезда. Шел нескончаемый, сильный дождь.

Я все думал: поехать, что ли? – или, может, не ехать? Что-то останавливало меня. Если честно, то я стеснялся. Ничего поделывать с собою я не мог. Неловко мне было, ни с того ни с сего, мол, вышло так, что делать, ах, извините, пожилую, хорошую женщину, да еще и вдову Олеси, мне собою обременять. И решил я тогда – не ехать к ней. Поплелся куда-то, в слякоть, в дождь, промок, но упрямо шел, вдоль насупленных улиц, вперед. Где-то я отыскал пристанище. А потом еще и еще. Так и жил, скитаясь, бродяжничая. Как-то выдержал это. Сумел.

А Ольга Густавовна долго ждала меня. Так мне сказала, позже, Оксана Михайловна. А Зверев, мне показалось, взглянув на меня внимательно, даже одобрил меня – молодец, мол, не стал стремиться поскорее в тепло, в уют, пересилил себя, отважился на бездомную жизнь, и – выстоял, даже, можно сказать, победил, – слава Богу, жив и здоров.

Где былые года? Позади. Что там дальше? Свет впереди. Вспомнить многое, без прикрас, можно. Так я скажу сейчас...

...Зверев – рисует. Где-то в центре Москвы. В какой-то большой, с потолками высокими, с окнами в полстены, с люстрами, отзывающимися на шаги по

паркету, натертому до блеска, долгим, протяжным, мелодичным, хрустальным звоном, просторной, чистой квартире. Пригласили какие-то люди, с виду вполне ухоженные, спокойные, в меру приветливые, художника знаменитого – сделать портреты семейства.

Мы пришли туда с Толей вдвоем, потому что в семидесятых часто вместе, подолгу, неделями, а бывало, что и месяцами, бродяжничали по столице, по домам ее, то неприветливым, откуда уйти хотелось как можно скорее, в ночь, в метель или в дождь, все равно, лишь бы только быть пусть и бездомными, но всяких граждан недобрых, по возможности, независимыми, то на редкость гостеприимным и вполне симпатичным домам, где ночлег был радостью подлинной, и тепло, и беседы с хозяевами, понимающими, радушными, драгоценными были для нас.

Мы пришли. Принесли с собою две коробки школьной, дешевой, в виде твердых прямоугольников, акварели, простой, надежной, той, которую предпочитал всем другим сортам акварели, даже сверхдорогим, заграничным, неизменно, упрямо, Зверев. Принесли с собою бумагу и несколько плоских, щетинных, для руки удобных кистей. Отдышались немного с дороги. Побеседовали, из вежливости, о том да о сем, с хозяевами, которые вроде настроились на серьезность того, что будет вскоре происходить. И работа тогда – началась.

Зверев – работает. Весь, от макушки до пяток, – в работе.

Всклочены волосы Толины.

Цепок и точен его пронзительный, резкий взгляд.

На полу – целым фризом разложены ватманские листы.

Рядом с ними – тазик с водой.

И – коробки со школьной, простой, любимой его акварелью.

В руках у художника – несколько больших, широких кистей.

Зверев – ходит между листами ватманскими, нагибается, делает поочередно на каждом листе мазок, выпрямляется, смотрит на то, что получилось, дальше движется, и листы заполняются постепенно цветом, преобразуются – и начинают жить своей, особой, таинственной и полнокровной жизнью.

Семья хозяев – сидит на стульях, напротив Зверева, в полном составе. Смотрят, словно на чародея, на него. Любопытно им – что же в итоге получится? Но пока что – надо позировать. И сидят они все, как миленькие. И позируют. Устают, но, однако, терпят. Так надо. Так сказал художник: сидеть! Двое взрослых, муж и жена. Муж – солидный, немолодой.

А жена – молодая, красавица, в легком платье, с глазами томными, с поволокой. Двое детей, принаряженных, симпатичных, круглолицых, мальчик и девочка. Обеспеченная, наверное, да и дружная вроде семья.

Зверев рисует их – по очереди. Начинает с детей. А потом переходит на взрослых. Он ходит по полу, между листами, машет кистями, брызгает водю из тазика и на паркет, и на бумагу, фыркает, приплясывает, бормочет что-то свое, хватается акварель, всю коробку, вываливает ее на бумагу, шлепает рукой по бумаге, которая заполняется все интенсивнее, и это – процесс, который остановить невозможно, творческий, вдохновенный, в полете, в сплошном движении, и это – действие, загадочное, таинственное, ритуальное, фирменное, коли так можно назвать его, зверевское, так-то проще, и по-русски звучит привычнее, жреческое, магическое, действие его трудов.

Зверев порой говорит:

– Сюда посмотри, детуля!

Или бормочет:

– Так. Не двигайся. Хорошо.

Завороженная Зверевым, семья послушно, смиренно подчиняется беспрекословно ему, потому что так надо, выполняет его приказы и смотрит во все глаза на него – жонглера и фокусника, циркача, актера и мага.

И расцветивается бумага.

И на ней возникают – портреты.

Как, откуда? Вроде бы не было их недавно – и вот они, здесь!

Чудеса, да и только! Тайна.

Есть в квартире теперь – новизна.

Здесь присутствует нынче – искусство.

Зверев топчется возле работ.

Говорит:

– Не хватает белого!

Но никто его не понимает из хозяев. Какое белое?

Зверев голос на них повышает:

– Есть у вас порошок стиральный?

– Есть! – ему отвечают. Идут за порошком. Несут порошок в коробке. Протягивают коробку полную Толе.

Зверев берет коробку, прыгает над работами в странном танце – и сыплет, сыплет порошок, словно снег, на работы.

И работы – преобразуются. Одна за другой, по очереди. Светлеют. Становятся дымчатыми. Да еще появляется в них – фактурность. По акварелям словно метет поземка.

Зверев смотрит на то, что сделал.

Говорит хозяевам:

– Веник! Поскорее – несите веник!

И ему приносят большой и широкий новенький веник.

Зверев макает веник в тазик с водой – и брызжет на работы. И что-то снова происходит с ними тогда. Сквозь белесость от порошка прорывается цвет – все гуще, все обильнее, пятнами, сгустками, цвет – в котором таился свет, а теперь получил возможность здесь, в квартире чужой, сиять – и решительно всех изумлять.

Зверев бросает веник на пол. Дух переводит. Смотрит на акварели. И говорит хозяевам:

– Нож! Принесите нож!

Хозяева не понимают его. Озадаченно спрашивают:

– Какой еще нож? Зачем?

Зверев им объясняет:

– Кухонный нож. Любой.

Хозяйка идет на кухню. Принесит столовый нож. Протягивает его, с некоторой опаской, надо – так надо, Звереву.

Зверев хватает нож. Делает им на работах белые резкие полосы, всякие загогулины, по сырым цветовым переливам, поверх акварели. Потом пишет ножом на каждой свежей работе, ставшей почему-то воздушной, движущейся, подпись свою – АЗ. И, разумеется, – год.

Смотрит на акварели.

И говорит:

– Все!

На пол бросает нож. Выпрямляется. И – улыбается. Отработал. Можно, пожалуй, да и нужно ведь, отдохнуть.

Члены семьи, которых изобразил художник, с места встают, порываются посмотреть поскорей на работы.

Зверев их останавливает:

– Нельзя! Работы – сырые.

И говорит помягче:

– Пускай полежат. Потом успеете посмотреть.

Члены семьи соглашаются – ну что ж, потом так потом.

Зверев спрашивает меня:

– Скажи, ну как, получилось?

Я отвечаю:

– Да. Получилось. Ты молодец.

Зверев довольно щурится.

Хозяин зовет нас к столу – выпить и закусить.

Приглашение мы принимаем.

Сделанные акварели остаются лежать на полу – сохнуть, до той поры, когда их, наверное, тогда, когда разрешит художник, можно будет смотреть.

Время за разговорами, за выпивкой – быстро проходит.

И вот отдохнувший немного от трудов своих долгих художник говорит наконец хозяевам:

– А теперь – смотрите работы!

Вся семья бросается в комнату, где лежат на полу акварели.

Видят их. Восклицают восторженно:

– Ах, какие мы все красивые! Ну, спасибо вам, Анатолий Тимофеевич!

Зверев:

– Не за что. Я – работал. А вы – позировали. Я вас просто увековечил.

Хозяева деньги ему в аккуратном конверте протягивают – за работу. Зверев небрежно берет конверт и сует в карман. Заработал – и ладно. Пригодятся еще, на жизнь.

Мы прощаемся с увековеченной семьей – и выходим на улицу, в гомон столичный, прямо в ненастный осенний вечер.

И Зверев мне говорит:

– Хорошо, что ты рядом, Володя. Мне с тобой спокойнее как-то. И рисуется лучше вроде бы, чем тогда, когда я один.

Я киваю в ответ головой.

Что сказать? Здесь слова не нужны.

Все и так понятно, без слов.

Мы идем вдвоем вдоль домов, то теснящихся, то расступающихся чуть пошире, вдоль длинных оград, вдоль деревьев редких, куда-то – в сердцевину безвременья, в даль, за которой возможна и глубь, ну а может быть, даже и высь, где огни впереди зажглись, где куда-то прийти нам надо, гдеждемся тепла и лада...

...Весной Драконьего, семьдесят шестого года, когда обитал у знакомых я, временно, в очередной коммуналке, меня разыскал Зверев.

Он ворвался стремительно в комнату, где сидел я за старым столом, в одиночестве, ставшем привычным для меня, и что-то писал на случайном листе бумаги.

Он буквально влетел сюда – и наспех, без церемоний, поздоровавшись, как-то глухо и взволнованно мне сказал:

– Володя! Поедем к Костаки!

Я спросил:

– Что случилось, Толя?

Зверев грузно присел на шаткую табуретку, слегка отдышался, посмотрел на меня в упор глазами своими карими, почему-то усталыми, влажными, покачал головой взлохмаченной – и грустно, с ка-

кой-то болью очевидной, с усилием явным, не сказал, а почти прошептал:

– У Костаки случился пожар...

– Где?

– Недавно, на даче, в Баковке. Там хранил он изрядную часть огромной своей коллекции. Были там иконы чудесные. Были там и мои работы, очень много давних работ. Вроде столько всего сгорело! Подождли, наверное, дачу специально всякие сволочи. Я звонил ему. Он просил меня поскорее к нему приехать. Ну а мне, ты меня пойми, ты всегда меня понимаешь, приезжать одному к Костаки тяжело, поверь. И поэтому обращаюсь к тебе по-дружески, напрямую: давай с тобой мы к Костаки вместе поедем. Ты ведь знаешь – с тобой мне спокойнее, где бы ни были мы, в любом, даже самом опасном месте, и в любой ситуации, даже самой сложной, словом, везде. Поддержи меня нынче, старик! Надо ехать. Поедем – вдвоем! Я сказал:

– Хорошо. Поедем. А когда?

– Да прямо сейчас. Ты давай, собирайся, друг. И – поедем. Костаки ждет.

Я накинул куртку свою. Взял портфель.

– Ну, вот. Я готов.

Зверев, хрипло и кратко:

– Вперед!

На улице Зверев привычно помахал рукой у обочины дороги. Довольно быстро остановил такси.

И мы с ним вдвоем поехали по московским просторам к Костаки.

День, весенний, но темноватый почему-то и даже сумрачный, был довольно холодным. Ветер налетал на деревья голые и раскачивал ветви их, шевелил обрывки афиш, залетал в окно приоткрытое, внутрь, в машину, где мы курили и молчали. И снег лежал у оград и стен. И асфальт скользким, прочным ледком поблескивал. И вдали, в нависшем над городом, беспокойном, тяжелом небе, назревала, клубясь и хмурясь, разрастаясь, ненастная хмарь.

Зверев был напряжен. Молчал.

Иногда головой качал.

И вздыхал. И шептал:

– Пожар...

И опять замолкал, надолго.

И смотрел, насупившись, грустно и светло, за стекло, слегка запотевшее, а куда он смотрел – да кто его знает, может – в прошлое, отшумевшее, героическое свое, ну а может быть – в настоящее, где летали над сквером голуби и клубились в небе свинцовые и лиловые облака, или, может быть – пря-

мо в грядущее, всех нас там, в отдаленье, ждущее, до которого нам идти еще через годы, как сквозь века.

И машина, шурша колесами по асфальту, ковром-самолетом поднимаясь, как в сказке, вверх, проносила над пестротой всей застройкой столичной, похожей на расставленные костяшки домино, устремлялась вниз и летела быстро вперед.

Наконец мы на место приехали.

Вот и дом, всей Москве известный, где живет семейство Костаки.

Поднялись на нужный этаж.

Позвонили. И стали ждать.

Дверь открыл смятенный Костаки.

Он бросился к Звереву:

– Толя! Вот уж горе какое! Пожар!

Зверев:

– Да, дядя Жора. Пожар.

И Костаки всплеснул руками:

– Заходите скорей, заходите!

Зверев:

– Честно скажу – мне было приезжать одному тяжело. И поэтому я приехал к вам сегодня с Володей Алейниковым.

И Костаки взглянул на меня благодарно:

– Спасибо, Володя! Хорошо, что в такое время непростое вы рядом с Толей.

Я ответил ему:

– Так надо.

И Костаки:

– Вот именно. Надо. Надо друга сейчас поддержать.

Я ответил:

– Именно так.

И Костаки, с лицом набрякшим, смуглым, странно отяжелевшим, с воспаленным взглядом усталых, но живых, искрящихся глаз, весь – мучение, скорбь и боль, весь растерзанный, но упрямо и отважно противостоящий злу, с которым ему сражаться приходилось, и весь – протест, вызов, дерзостный и достойный, всем гонителям и врагам, нам сказал:

– Пойдемте ко мне!

Мы зашли за ним в комнату, густо, сплошь увешанную картинами.

Говорить о том, что за живопись у Костаки была, особого смысла нет – и так это было всем в столице давно известно.

Мы присели за стол со Зверевым. Закурили. Зверев молчал. Только сгорбилась как-то, сжался напряженно. Я тоже молчал.

И Костаки вышел из комнаты. И вернулся вскоре. В руках он нес большую груду гуашей, по краям обгорелых. Гуаши были зверевскими. И на них – сохранилось изображение. Диво дивное, да и только!

В руках он нес большую грудку гуашей, по краям обгорелых. Гуаши были зверевскими. И на них – сохранилось изображение. Диво дивное, да и только!

И Костаки тогда показал эту грудку гуашей Звереву. И сказал огорченно:

– Вот!..

И – заплакал.

Зверев сказал, посмотрев на гуаши:

– Я вижу.

И Костаки начал рассказывать, как спасал он на даче работы от огня, собирал их, валявшиеся на участке, в глубоком снегу, из окна торопливо выброшенные неизвестными, но, наверное, что находится в доме, знавшими и расчетливыми грабителями, как пропали иконы ценнейшие, да и много всего пропало из коллекции, очень много, и не плакал даже – рыдал.

И Зверев ему сказал:

– Дядя Жора, вы успокойтесь. Ну, пропали мои работы. Обгорели. Или сгорели. Ничего! Еще нарисую!

И Костаки его спросил, благодарно, взволнованно:

– Правда?

Зверев, искренне, просто:

– Правда!

И Костаки, пусть и с трудом, но по-детски совсем, – улыбнулся.

Зверев:

– Есть акварель, бумага?

И ответил Костаки:

– Есть!

Зверев:

– Ясно. Несите сюда!

И немедленно появились на столе акварель и бумага.

Зверев:

– Кисти нужны!

И вскоре на столе появились кисти.

Зверев:

– Миска с водой нужна!

И костакинские домочадцы приташили миску с водой.

30

Зверев:

– Так. Дядя Жора, у вас есть какой-нибудь красный шарфик?

И Костаки:

– Сейчас поищу.

И нашел. И принес его:

– Вот.

Зверев:

– Так. Накиньте-ка шарфик. И садитесь. Буду работать.

И Костаки накинул шарф, красный, даже багрово-красный, словно пламя, себе на шею.

Зверев:

– Так. Смотрите сюда, на меня.

И – начал работать.

Как всегда. Не быстро – стремительно. Весь – в полете, в буйном движении. Весь – в порыве. И весь – в труде.

И взлетала рука его, гибкая и подвижная, крепкая, верная и надежная, легкая, певчая и крылатая, так мне хочется о рабочей зверевской, бережно сохраняемой им в любых передрыгах руке сказать, вверх и вниз, то влево, то вправо отклонялась, к центру листа, вместе с кистью широкой, рвалась отовсюду туда, где цвет становился светом, где краски заполняли неудержимо белизну бумаги, где образ возникал из ритма, движений непрерывных, и постепенно становился уже узнаваемым, четким, точным, дышал, оживал на глазах у нас, укрупнялся и сгущался, весь – в окружении синкопическом, бурном, звонком, словно музыка здесь звучала, броских пятен, точек, мазков, артистичных и виртуозных, и всего, что было сейчас и оправданным, и возможным, и реальным, и фантастическим, даже сказочным, так вернее, да, вернее, поскольку сказка становилась явью, сегодняшней, несомненной, чудесной, зримой, и – волшебной рукой творимой.

И вот он – закончил работать.

И сказал, распрямившись:

– Все! Есть. Бодрит. И хорэ. Смотрите!

Мы увидели великолепный, поясной, драматичный портрет.

Костаки на нем – сидел, с красным шарфом на шее, глядя и на всех нас, и на потомков, полагаю, глазами, влажными и печальными, – он смотрел в настоящее и грядущее, и с достоинством, и с осознанием неизменной своей правоты.

Зверев сказал, сощурившись:

– Костаки после пожара!

Костаки с места вскочил. Бросился обнимать Зверева. Красный шарф пылал на плечах его жаркой, жгучей, огненной лентой.



Семилетняя полоса измотавших меня вконец, показаться могло кому-то не случайно, моих скитаний подходила уже к завершению, но я, бродивший по городу с утра и до вечера, этого пока что еще не знал.

Одно лишь изредка брезжущее впереди предчувствие скорых перемен в судьбе, неизбежных, удивительных и спасительных, потому что нельзя иначе, потому что вера с надеждой зажигают звезду во мраке на пути земном, и любовь окрыляет и совершает чудеса, да еще какие, это знал я и этого ждал, заставляло меня, встряхнувшись, не поддаваться панике, не впадать все чаще в хандру или, хуже того, в тоску, что совсем уж хреново, но, вопреки всему, что мешало мне дышать, вопреки жестокой, с перебором большим, действительности, закрутившей со мной затянувшийся свой рискованный эксперимент, на грани срыва и взлета, почуяв светлое что-то, упрямо и стойко держаться.

Тот, кто в досталь намаялся в прежние, посреди бесчасья мерцающие, как фонарики за кормю проплывающих в гуще тумана молчаливых суденышек, годы – без угла своего, без средств пресловутых к существованию, без одежды, необходимой по сезону, пусть самой простой, лишь бы грела зимой, лишь бы летом защищала от зноя, и ладно, все сгодится, что есть, то есть, не до выбора, не до моды, говорить об этом смешно, а смеяться над этим грешно, вообще без всего такого, что является всем, от мала до велика, давно знакомыми и понятными всем приметам нормальной вполне, человеческой, без излишеств сказочных, жизни, – пребывая в каком-то подвешенном, не сказать поточней, состоянии, отодвинутым будучи страшной повседневностью, сонмами будней, беспросветных и хищных, куда-то на обочину той дороги, по которой гуляет советская и, значит, отличная, лучшая в мире, со знаком качества в петлице, вместо цветка, не до лирики ей, реальность, подальше от глаз, туда, к вынужденной божественности, к неприкаянности, к отверженности, – понимает меня с полуслова, с полувзгляда, и хорошо, лучше всех остальных, уверяю вас, дорогие сограждане, знает, испытал это все на собственной, на своей, а не чьей-нибудь, шкуре, как жестока и равнодушна к человеку бывает Москва.

Так все складывалось, что мне совершенно некуда было, ну хоть вой, хоть кричи, все равно не услышит никто, податься, не к кому было пойти, ненадолго совсем, отдышаться, успокоиться, пусть на часок, даже меньше, на все был согласен я тогда, но куда деваться, если некуда было идти, просто

некуда, не к кому вовсе, – никуда, увы, не пойдешь, ни к кому, словно встарь, не зайдешь, никого нигде не найдешь, и на все вопросы ответ был один-единственный: нет.

Многочисленные знакомые, словно загодя сговорившись меж собою, все, в одночасье, непонятно куда запропали.

Нет – и все тут. Где их искать?

Пустота вместо них какая-то нехорошая. Тишина бестолковая. Темнота? Маета с теснотой? Кто знает!

*Свято место вроде – ан пусто.  
Знать, бывает. Идей – не густо.  
Мыслей – хоть отбавляй. С избытком.  
Не прибегают ли вновь – к попыткам?  
Чай, не пытки. Ну что ж, рискнем?  
Не впервой играть мне с огнем.  
Не впервой идти на авось.  
И откуда это взялось?  
Все оттуда – из лет былых.  
Из бездомия, из бед сплошных.  
Из невзгод. Наугад – вперед.  
Через реку времени – вброд.  
Сквозь огонь, и дождь, и снега.  
Благо жизнь была дорога.  
Хоть висела – на волоске.  
Хоть несладкой была – в тоске.  
И – нескладной. Нелепой. Пусть.  
Это помнится – наизусть.  
Это было – не с кем-нибудь.  
Был тернист и кремнист мой путь.*

Заходил я, снова и снова, пересилив себя, шатаясь от усталости многодневной и от голода, что там скрывать, в очередной, попавшийся на пути моем, на глаза мне, телефон-автомат, в пустую, тесноватую, душную будку с разбитыми стеклами, с дверью расшатанной, с трубкой, висящей на длинном шнуре, бросал дефицитную, сэкономленную двухкопеечную монетку, набирал, полистав записную книжку, чей-нибудь номер в надежде, что вот-вот дозвонюсь куда-то, доберусь куда-то, вот-вот, потерпеть осталось немного, и грядет впереди подмога, и удача, возможно, ждет.

– Алло! Меня слышно? Алло!

Но, как назло, не везло.

В ответ либо раздавались длинные, заунывные, однотонные, механические, ни туда, ни сюда, сигналившие о крушении всех надежд, сообщающие, без всяческих слов, ненужных и лишних вовсе, ни о чем, вот и все, гудки, либо голос невыразительный отвечал, что сейчас такого-то, по причинам, ему неведомым, разумеется, дома нет.

Измотанный, полуживой, с тяжелой головой, с растрепанными волосами, под столичными небесами, среди стен и оград, один, с бородой рыжей, с портфелем, в котором лежали стопки рукописей моих тогдашних, да корка хлеба черствая, да вода во фляге, да несколько книг, в состоянии то ли транса, то ли просто-напросто близком к обморочному, что было действительно ближе к истине, двигался, шаг за шагом, я, человек бездомный, никому на свете не нужный, несмотря на все свои, оптом, вон их все-таки сколько, таланты, ну и что с ними делать, нищий, вот уж точно, по существу, хмурый, хворый, бедняга, бродяга, тот, в чьем сердце живет отвага прозорливца, поэта, мага, никакого ни видя блага ни в тепле, вернее, жаре, ни в прохладном ближнем дворе, ни в деревьях поодаль старых, ни в ампирных, в сторонке, чарах, вдоль пыльных, с асфальтом в трещинах и выбоинах, тротуаров, отрешенно, словно по воздуху, мне мерещилось, переходил на зеленый, дозволенный свет проезжую часть шуршащих, верещащих машинами улиц, изредка чувствуя дикую, иначе не скажешь, усталость в ногах, ненадолго присаживался на выкрашенные недавно жирной зеленой краской с ядовитым въедливым запахом скамейки, переводил дух, а потом, напрягаясь, пусть с усилием, но вставал и шел, но куда же, знать бы об этом тогда мне, дальше.

Встречные-поперечные прохожие косо поглядывали на меня – и, на всякий случай, во избежание разных, нежелательных, но возможных, и особенно здесь, в Москве, столкновений или вопросов, на которые отвечать никому из них не хотелось, или, может быть, разговоров, что само по себе отпадало, отменялось немедленно всеми, нет, и все, забывалось тут же, потому что дорого время, а здоровье еще дороже, да и нервные клетки потом, как ни бейся, не восстановишь, и поэтому лучше мимо раздражителей сразу пройти, и тем более мимо этого, бородатого и кудлатого, в пиджаке измятом, с портфелем, что в портфеле, поди гадай, может, бомба, а может, граждане, прокламации или выпивка, вон какие глаза соловые, неспроста это, лучше быть начеку, держаться подале, так спокойнее, так надежнее, в толчее людской, в суматохе, в нервотрепке нашей эпохи, где сплошные ахи да охи прерывают редкие вздохи одиноких субъектов, бредущих сквозь толпу, чего-нибудь ждущих от кого-то, или не ждущих вообще уже ничего, все равно, и какое дело всем до всех, ведь страна хотела жить спокойно, да где покой, где, скажите, прелести быта, все для всех навсегда закрыто, лишь разбитое ждет корыто, вместо

царства, да под рукой только скомканная авоська, чтоб с работы с ней в гастроном заскочить за манной земной, – обходили меня стороной.

Лица их густо пестрели. Роились. Дробились. Множились.

Пересекали Садовое, в реве машин, кольцо.

Скомкались. Нет, скукожились. Выцвели. Подытожились.

Что-то случилось? Вроде бы все – на одно лицо.

Стали сливаться в общее, тусклое, смутноватое, будто бы виноватое в чем-то дурном, пятно.

Перемешались в мареве, в едком, угарном вареве, именно в том, где только что были все заодно.

Всякие городские, много их слишком было на каждом шагу, подробности мозг мой уже не улавливал.

Растерянно шурясь, брел я на свет раскаленного солнца, инстинктивно вбирая, впитывая, впрок, возможно, его энергию.

Не до шуток мне было. Сердце побаливало. Нашарил я валидол в кармане, таблетку положил под язык, почувствовал сладковатый, успокоительный, для меня, по привычке, вкус лекарства, скорее – конфеты, но считать мне хотелось – лекарства.

*Боль была – какой-то сквозной.*

*Сверху донизу – все болело.*

*Что за странности? В чем же дело?*

*Был взволнован я. Что со мной?*

*Промелькнул, пусть на миг, испуг.*

*Отогнал его. Где ты, воля?*

*Вдосталь в жизни – всяческой боли.*

*Распадаться нам недосуе.*

*Не сдаваться! За кругом круг.*

*Шаг за шагом. И миг за мигом.*

*К новым встречаю. И – к новым книгам.*

*А потом – и к себе, на юг.*

*Если вырвусь отсюда снова.*

*Если съезжу повезет.*

*Я надеюсь. А боль – пройдет.*

*Неприменно. Честное слово.*

*Так вперед! Сквозь тоску – вперед.*

*Сквозь усталость. И сквозь бездомность.*

*Вечер скоро. Небес огромность.*

*Безусловность грядущих льгот.*

*Обретенный возможных свет.*

*Пробуждений. Прозрений новых.*

*И – путей впереди. Суровых?*

*Легких – попросту в мире нет.*

Истошение, да и только, – подобное состояние, как ни думай о нем, иначе, очевидно, и не назовешь.



широко и свободно всю цветовую гамму, контрасты все и акценты.

Любое пятно, скопления капель, россыпи брызг, в совокупности дерзкой своей, всегда играли по крупной, работали все – на общее, на целостность всей работы, на то, что должно – быть.

И вот возникал – образ.

И – начинал жить.

Яковлев, посмотрев на то, что он создал, сощуривал в две китайские узкие щелочки свои фантастически темные, да просто угольно-черные, с никогда и нигде не гаснущим на самом дне увеличенных донельзя зрачков, таинственным, беспокойным огнем, какие-то по-особому жаркие, жгучие, поразительные в своей непохожести на другие, на такие, которых множество можно видеть на каждом шагу, нет, конечно же, с не случайною в них надеждой, необычайные, даже больше, похоже – провидческие, изумительные глаза, откладывал в сторону кисти, закуривал сигарету – и, в сизом облаке дыма, с лицом, слегка побледневшим от немалого напряжения недавнего, распрямляясь, как будто бы поднимаясь над судьбою своей суровой, над работой своею новой, улыбался устало:

– Все!..

...Весной шестьдесят шестого рассказал я Володе Яковлеву о случайно увиденном фильме Феллини «Джульетта и духи».

Он – выслушал с интересом меня. Походил по комнате. Закурил. Посмотрел в окошко задумчиво. Поглядел на меня своими чернящими, как пылающий уголь, глазами, задумчиво, но и пристально. Пошевелил губами, влажными, лиловатыми, растресканными слегка, с прилипшей табачной крошкой желтой. Потом сказал:

– Алейников! Там, в этом фильме, – духи, сплошные духи. Сколько их, этих духов? Бедную женщину – жаль. Кто ей поможет? Она, видимо, очень страдает. В жизни – такое бывает. Вот, например, у меня. Духи – повсюду. Разные. А может быть, и не духи. А так, непонятные силы какие-то. Вижу я их. С ними борюсь постоянно. Даже, похоже, сражаюсь. Нельзя их к себе подпускать. Лучше держаться подальше от них. Так спокойнее, вроде бы. Хотя – какое спокойствие может – в моей-то жизни, сам понимаешь, какой, и смысла нет объяснять, почему она получилась не такой, как у всех вокруг, а какой-то слишком уж странной, да еще и нелепой, даже первобытной какой-то, дикой, да и грустной, – быть у меня! Что, скажи-ка, мне остается в этой жизни делать, такой

вот несуразной? Только работать. Да, работать. Вот и тружусь непрерывно. Этим спасаюсь. И от духов, и от тоски, и от вечного, каждый миг, каждый час, каждый день, каждый год, бесконечного одиночества. Жив я – духом. Высоким, знаю. Тем, который не всем дается. Нелегко мне. Это уж точно. Значит, надо терпеть. Смиряться? С чем же? С бредом? Нет, никогда не смирюсь. Потому-то я и рисую. И – выражаю все, что есть в душе у меня, все, что чувствую, все, что вижу, все, что я понимаю. Чем? И умом своим, и хребтом. И – чутьем своим. Весь я – творчество. Так, пожалуй, можно сказать обо мне. Такое вот слово в языке нашем есть. И в нем – жизнь моя и судьба моя.

И Володя взмахнул рукой, словно птичьим крылом, как будто захотел сейчас же взлететь – высоко, туда, где не будет ни унылого быта, ни грусти, ни психушек, ни всяких житейских, надоевших порядком, сложностей, ни всего, что давно мешает жить ему по-людски, дышать полной грудью, быть полноценным человеком, а не каким-то инвалидом полуслепым, где его заждались вдали свет целебный, покой и воля, где исчезнет навек с земли даже признак всегдашней боли...

...А когда я, все той же весной, рассказал взволнованно Яковлеву об увиденном, тоже случайно, фильме Феллини «Восемь с половиной», шедевре явном, стал Володя вдруг очень серьезным, а потом о чем-то задумался.

И сказал:

– А вот этот фильм понимаю я хорошо. В нем движение творчества есть. Это все мне прекрасно знакомо. Жаль, что я не бываю в кино. Ничего не поделаешь – зрение. Но зато у меня есть то, чего вовсе нет у других. У меня есть – воображение. И оно, это знаешь ты сам, начинается – преображение. А чего? Да чего угодно! Вот хотя бы комнаты этой. Подоконника. Шкафа. Стола. Этих красок. И этой бумаги. И тогда является – творчество. Что такое, по-твоему, творчество? Это чудо. И результат – навсегда запомни – труда. Потому-то я и работаю. Каждый день, между прочим. Тружусь. И работой своей – спасаюсь. От всего, что мешает мне жить. И работа моя – серьезная. И картинки мои – долговечные. Это твердо я знаю. Когда-нибудь их поймут, непременно поймут. Да и нынче уже – понимают. Пусть не все. Это вовсе не страшно. Понимают мои картинки те, кому пониманье – дано. Согласись, что и это – дар. И поэтому пусть мне бывает тяжело, даже очень, нет, слишком тяжело, да так, хоть кричи. Ничего. Работа меня отовсюду выводит к свету. И победа будет – за мной.

И Володя взглянул – как будто быстрой птицей рванулся в пространство – за окно, туда, где свободно разливался весенний свет, – и глаза его стали влажными, и лицо его посветлело, словно стал он в это мгновение обитателем ясной вечности, вне любых обстоятельств жизненных, слишком грустных, и вне времен...

Однажды, в период, поистине редкостный для него, относительно ровный, спокойный, без томительного пребывания в очередной психушке, и хорошо, что вдали от этого заведения, в родительской тесной квартире, вдохновенно и одержимо работая целыми днями, весь – в трансе, в полете, в движении, в очередном постижении творческих тайн, открытий, весь в ореоле наитий, неистовый труженик, Яковлев сделал огромную серию гуашей – и пригласил, внезапно, позвал, по-дружески, даже призвал меня – немедленно их посмотреть.

Получилось это неожиданно.

Я позвонил Володе, чтобы голос его услышать и немного поговорить.

И услышал – категоричное:

– Алейников, приезжай! Приезжай ко мне поскорее. Я тут столько всего наработал! И хочу тебе все показать.

Я ответил:

– Скоро приеду.

И – приехал к нему, в квартиру на Шелепихинской набережной.

Яковлев был в ней – один.

Он встретил меня – и сразу же потащил за собой, в свою комнатку-закуток, – поскорее смотреть работы.

И сызнова началось – нечто невероятное.

Работы размером в четверть ватманского листа он, дымя сигаретой, перебирал довольно быстро, как будто небрежно перелистывал толстую книгу.

Потом начались работы на половинках листа – их он показывал медленнее, сам в них пристально вглядываясь, а интенсивность живописи все усиливалась и сгущалась.

Потом пошла череда гуашей в полный формат, мощных, монументальных, щедро насыщенных цветом, буквально поющих, звучащих, в дивной гармонии красок, в космической полифонии тонов и полутонов, звуков, отзвуков, призвуков, оттенков, штрихов, деталей, обобщений, прорывов сквозь время, путешествий в пространстве, – и Яковлев показывал их с каким-то пробудившимся в нем достоинством, со значением, все возрастающим, в еще более медленном темпе.

От пиришества цвета, от этого количества явных шедевров, у меня уже закружилась голова, заболели глаза.

Взглянув на меня и почувствовав, что я уже очень устал, и явно щадя меня, Володя вздохнул устало, отодвинул работы в сторону – и прекратил просмотр.

Он закурил – и тихо, доверительно произнес:

– Вот видишь, сколько их, этих картинок новых моих! Я – рисовал, рисовал. Всем уже рисовал – и руками, само собой, и ногами, и головой. Задницей только еще не пробовал рисовать. Но так вот, конечно, не надо. А работать – надо и дальше. И я все рисую, рисую. А что еще остается? – Он сощурился на меня, улыбнувшись. – Ну как, понравилось?

И я, совершенно искренне, тогда ответил ему:

– По-моему, эти новые вещи твои – гениальные.

Он весь, будто солнечный луч озарил его, вырвал из мрака, засиял глазами бездонными, грустными, – и просветлел.

Году в шестьдесят шестом я познакомил с Яковлевым своего тогдашнего друга, Виталия Пацюкова.

Тогда еще не был он известным искусствоведом, автором многочисленных и весьма серьезных статей о близких ему художниках нашего авангарда, куратором разных выставок в России и в западных странах, просто незаменимым, непрерывно и плодотворно трудящимся, год за годом, во имя искусства нового, человеком, а был простым инженером, где-то работал, числясь на скромной должности, но зато горячо, всерьез, любил он литературу и любил, конечно, искусство.

Позвонил я однажды Яковлеву.

Договорился о встрече.

И – привел к нему Пацюкова.

Там, в небольшой двухкомнатной квартире, где, несмотря на полное, даже полнейшее, безнадежное просто, отсутствие более или менее сносных условий для творчества, Яковлев постоянно, целенаправленно работал, а заодно и жил, в тесноте немислимой, в крохотном, темноватом, полубольничном, что ли, полутюремном вроде, полудомашнем, так уж выглядел он, закутке, Пацюкова ждало настоящее откровение – было ему явлено, щедро, с открытостью полной, великое множество гуашей разнообразных на бумаге, холстов, картонов и рисунков, незамедлительно изумивших его, потрясших и пробудивших в нем любовь огромную к яковлевскому необычному творчеству, искреннюю, на всю его жизнь, такую, которая редко бывает, а если бывает – то навсегда.

Работа – дивная просто.  
В коричневых, охристых,  
с призрачной белесостью,  
теплых тонах. По тону,  
по строю, по духу –  
какая-то скандинавская.

И решил он приобрести какие-нибудь работы.

Я показал ему на женский портрет, написанный маслом на плотном картоне:

– Посмотри-ка. Это шедевр.

И Виталий купил, прислушавшись к словам моим, этот портрет.

Работа – дивная просто. В коричневых, охристых, с призрачной белесостью, теплых тонах.

По тону, по строю, по духу – какая-то скандинавская.

И – музыкальная очень. Наполненная отголосками знакомых мелодий давних.

Почему-то Ибсен вдруг вспоминался. А с ним – и Григ.

Потом приобрел Виталий женский портрет – на ватманском, большом, упругом листе.

Отдаленно напоминал он жену Пацюкова, Светлану.

Метаморфозы всякие – начались чуть позже, потом.

Как только этот портрет, окантованный, под стеклом, стал висеть на стене в квартире Пацюковых в Марьиной Роше, Светлана, такая, как имя ее, светлолицая, светлоглазая, отзывчивая и простая в общении частом с друзьями, но при этом и образованная, со своим, всегда независимым, оригинальным мышлением, да еще и с какой-то особой загадкой, даже тайной, где-то там, в глубине ее крылатой и светлой души, не с каждым годом, а с каждым месяцем, и буквально с каждым днем, все больше и больше, стала, вот чудеса, походить на него, – таково было его мощнейшее воздействие, – и теперь трудно сказать, насколько далеко зашло это вхождение, в точном смысле этого слова, в образ, – хотя повидаться со Светланой, наверное, можно, при желании, и теперь.

Приобрел тогда же Виталий, войдя во вкус, ошутив азарт немалый, у Яковлева еще один, замечательный, очень сильный портрет – мужской.

Напоминал он – так считали когда-то знакомые – Маяковского. Что ж, похоже. Пусть и так. Но не только его.

Но друг наш общий, хороший человек и художник, Вагрич Бахчанян, убежден был, что это – его, Бахчаняна, Баха, так его мы все называли в прежние годы, портрет.

И ведь был он все-таки прав.

И когда я, под настроение, вспоминаю этот портрет, то мысленно говорю себе снова: ну точно, Бах!..

После визита Виталия Пацюкова к Володе Яковлеву – пришел черед и ответного дружеского визита: Яковлева – к Пацюкову.

Договорился вновь я с Володей. Привез его на такси, с Шелепихинской набережной в пацюковскую Марьину Рошу.

Вошли мы вдвоем в подъезд белого блочного дома.

На скрипучем и шатком лифте поднялись на нужный этаж.

Позвонили. И дверь нам сразу же, широко, нараспашку, – открыли.

Яковлев как-то бочком, вперевалку, зашел в квартиру.

Встречали его приветливые и радостные Виталий со Светланой:

– Здравствуй, Володя! Наконец ты приехал к нам!

Виталий, широколицый, невысокий, но коренастый, отдаленно похожий на Лермонтова, и Светлана, действительно светлая, как и светлое имя ее, к яковлевскому приезду отнеслись будто к очень важному, а может быть, и важнейшему событию в жизни своей.

Помогли ему снять пальто.

Говорили ему хорошие, даже ласковые слова.

Звали его пройти в комнату, чтобы чайку с дороги попить, отведать приготовленных загодя сладостей, чтобы освоиться здесь, к обстановке привыкнуть новой.

Но Яковлев никуда почему-то идти не спешил.

Все топтался в прихожей крохотной.

Морщил свой лоб. И, похоже, о чем-то своем размышлял.

Пацюков подошел к нему. И сказал по возможности ласковой:

– Володя, пойдём-ка в комнату!

И тогда встрепенувшийся Яковлев как-то вдруг, неожиданно, резко надвинулся на Пацюкова.

Всем своим небольшим, почти детским, но крепким корпусом, всем своим смуглым, скуластым, лобастым, необычайным, с пылающими глазами проро-

ка или жреца, нервным, подвижным, словно что-то кричащим кому-то, словно к кому-то взывающим, то ли из гулкой, темной глубины минувших столетий, то ли из нынешней яви, воспаленным, слегка перекошенным, как античная маска актера, опаленным огнем таинственным, изнутри, из души, из сердца, озаренным каким-то сиянием непонятным, ему одному хорошо и давно известным, вдохновенным, живым, вопреки всем лишениям и невзгодам, гениальным, пожалуй, лицом.

Пацюков отшатнулся невольно, даже прижался к стене.

Володя к нему приблизился вплотную. Он то ли вглядывался, то ли вслушивался в него.

И вдруг, для всех неожиданно, не сказал, а громко и властно Виталию приказал:

– Поскорее давай мне бумагу! Карандаши давай!

Тащи мне все, чем могу я прямо сейчас рисовать!

Пацюков, слегка озадаченный властным приказом Володиным, тут же ринулся в комнату – и мигом вернулся обратно, уже с листами бумаги и цветными карандашами.

Яковлев здесь же, в прихожей, прислонив лист бумаги к стене и почеркав по нему мягким карандашом, артистично и виртуозно, так, что была это явная маэстрия, как иногда говаривал Генрих Сапгир, мгновенно, в порыве стремительном, изобразил Виталия.

И протянул ему рисунок свежий:

– Держи!

– Ох! Спасибо тебе, Володя! – не вымолвил даже, а как-то шумно, с призывком, выдохнул, от такой вот негаданной радости растерявшись вдруг, Пацюков.

Яковлев улыбнулся довольно:

– Похож, похож! Я знаю. Смотри – это ты!

Пацюков совсем уж растрогался.

Обретенный рисунок – бережно и надежно к сердцу прижал.

Действо меж тем продолжалось и далее. Здесь же, в прихожей.

Присутствовали при этом Пацюков со своей Светланой и я с тогдашней моей женой Наташей Кутузовой.

Володя незамедлительно выхватил у Пацюкова еще один лист бумаги.

И воскликнул:

– Наташа! Встань здесь вот, рядом, теперь – ты!

Прислонил захрустевший лист плотной бумаги к стене.

Мелькнул в его легкой, быстрой руке – простой карандаш.

Несколько взмахов руки.

Несколько линий, штрихов.

И вот он – портрет. Наташа.

И действительно ведь – похожа.

Наташа. Она и есть.

Образ ее. То, что видел Володя – внутренним зрением.

Суть. Сейчас, разумеется.

Но, это важно заметить, – и на потом. На будущее.

– Дарю! – протянул Володя только что, на глазах у всех, сделанный им рисунок – юной моей жене.

– Ой, спасибо тебе, Володенька! – зашебетала Наташа.

Рисование – продолжалось.

Продолжалось – здесь же, в прихожей.

И только изрисовав, стремительно и вдохновенно, всю бумагу и раздарив рисунки, которые сделал он, Володя зашел наконец в комнату и уселся за накрытый, в честь гостя желанного, довольно скромный, конечно, да такой уж, каким получился, зато – от души, от всего сердца, со всеми возможными, по временам тогдашним, роскошествами, накрытый, скорее все-таки – созданный, искренне, вдохновенно, с угощениями разными вкусными, с чаем, с вином сухим, по традиции старой московской, молодыми супругами, вовсе не будничным – праздничным стол.

Сам Володя – был тоже праздником.

С тех пор и стал Пацюков самым верным поклонником Яковлева, ценителем и комментатором его грандиозного творчества.

Все мною выше названные, купленные Пацюковым еще в первый его приезд к Яковлеву, работы – позже, в дальнейшем, не раз выставлялись и репродуцировались.

И не только они. К ним вскоре прибавились и волшебные цветы и, музейного уровня, Володиные прочие вещи.

Ну а я – был я рад тому, что простое вроде, обычное поначалу, почти деловое, поскольку связано было с покупкой работ Володиных, человеческое, замечу, потому что друг к другу все в наши прежние времена относились по-человечески, хорошее, плодотворное, полезнейшее общение быстро перерастало, да иначе и быть не могло, у Володи с Виталием, – в дружбу.

Как давно это было! И вроде бы – это было недавно, только что, да, конечно же, прямо сейчас, ну – вчера, или позавчера, и никак не позже, наверное, так хотелось бы думать нынче мне, седому совсем человеку, а на самом-то деле – когда-то, в сердцеvine эпохи минувшей, в незабвенные годы, когда были все мы еще, это надо же, молодыми, полными

сил, и сирени запах пьянящий, или запах листьев осенних, или снега ночного холод ветерок в окно приносил.

Марьяна Роша, дом чуть в стороне от шумной, прямой Шереметьевской улицы – стандартная, блочная, белая, в двенадцать густых, друг на друге, заселенных людьми этажей, знакомая всем нам башня, и квартира друзей, и встречи, столь частые, столь чудесные, и стихи мои молодые, постоянно звучавшие здесь, и глаза со слезами или с веселю, быстро искоркой, и беседы тогдашние наши – обо всем, что насущным в ту пору так привычно бывало для нас, и вино, и дымок сигаретный, и рассеянный свет полуночный, и бессонные, светлые лица, и летящие вкось над землей, а потом и уже напрямик, в глубь ночную, все дальше, все выше, сквозь пространство и время, не чьи-нибудь посторонние – именно наши – посреди бесчасья, в юдольном непростом пути – голоса...

Году в шестьдесят девятом он, к моему изумлению, вдруг заявился ко мне, в квартиру мою тогдашнюю, на пронизанной звоном трамваев и заросшей деревьями старыми, выходящей к мосту, за которым начинались Сокольники, улице Бориса Галушкина, в это пристанище всей московской, да еще и заезжей богемы, – возник предо мною, выбритый старательно, в свежей рубашке, в приподнятом настроении, – и заявил с порога:

– Алейников! Ты поэт настоящий. Я это знаю. И стихи твои – слушать люблю. Читать мне трудно, а слушать – это как раз для меня. Ты давай читай мне, а я буду слушать тебя и делать рисунки к твоим стихам.

Я сказал:

– Хорошо, Володя. Почитаю тебе стихи.

Яковлев:

– Только ты найди мне побольше бумаги, любой, какая найдется у тебя. И – чем рисовать.

Я сказал ему:

– Да, конечно. Постараюсь все это найти.

Бумагу нашел я – для пишущей машинки, формата обычного. Нашел я и карандаши цветные, несколько штук. И даже цветные мелки. Положил все это на стол.

Володя уселся за стол. Перед собой пристроил стопку бумаги, так, чтобы удобнее было брать ее и рисовать. Карандаши и мелки приготовил, по правую руку.

Посмотрел на меня внимательно. И сказал мне:

– Теперь читай!

И стал я читать стихи.

Володя, вперед подавшись, всем корпусом, весь – навстречу, само внимание, весь – предвестие рисования, вслушивался в слова, в их музыку, в ритмы их, вслушивался – как вглядывался, словно за слухом – было у него особое, внутреннее, самое важное зрение.

Потом начал быстро, потом – еще быстрее, потом – стремительно, в некоем трансе, для него, наверное, нужном, просто необходимом, в полете, в порыве, в движении непрерывном, все возрастающем, каждый миг, только так, – рисовать.

Все, что под руку попадалось, в ход немедленно шло у него, все в работе было – и с ним будто крепко дружило, само каждый раз его понимало – и карандаши, и мелки.

Он слушал мои стихи – и рисовал, рисовал, заполняя лист за листом, покуда не изрисовал всю стопку бумаги – и не на чем больше было ему рисовать.

На последнем листе он своим фантастическим, то ли детским, то ли инопланетным почерком, корявыми, крупными буквами старательно написал:

«Володя Алейников. Стихи.

Рисовал В. Яковлев».

Сгрудил листы бумаги – и протянул их мне.

На рисунках летали и пели небывалые, странные птицы, расправляя сильные крылья высоко, над грустной землей, в океанах, морях и реках быстротечных плавали рыбки, на лугах светились, как звезды, и свободно росли цветы, поднимались к небу стволами и ветвями всеми деревья, и мужские и женские лица галереей целой портретов из ненастного нашего времени, ну а может быть, из других измерений, или времен, или даже миров, смотрели, как-то пристально, с пониманием, дружелюбно, тепло – на меня.

Яковлев, тоже по-доброму, широко и светло улыбнувшись, посмотрел на меня – и сказал:

– Я как чувствовал все, Володя, так сегодня и нарисовал!..

Было это – в семидесятых. Я приехал к Володе Яковлеву. Он показывал мне свои удивительные работы. А потом посмотрел на меня, очень пристально, словно видел все на свете внутренним зрением, и сказал мне внезапно:

– Володя! Ты, наверное, хочешь есть.

Я не стал ничему удивляться. И ответил ему:

– Да, хочу.

Был я голоден. В годы бездомия я не ел порой по два дня. Денег не было вовсе. Жилья, своего, никакого не было. Ничего из того, что в жизни чело-

веку необходимо, ничегошеньки, – вовсе не было. Разумеется, я держался. Виду часто не подавал, что устал, что голоден, даже у знакомых своих в гостях. И усилий немалых стоило мне тогда не сдаваться, держаться. Надо выстоять, я твердил про себя. И, как мог, старался продержаться еще, и еще, хоть немного, потом подольше, так и длилось все это, и я понимал, что нужно мне пристанище, где бы мог я собраться с силами, успокоиться, отдохнуть. Но была полоса такая, что пристанище не находилось. И поэтому я продолжал, вопреки невзгодам, держаться.

Говорить о том, что, мол, все хорошо у меня, прекрасно, мог любому я из друзей и знакомых. Но только не Яковлеву. Все он лучше других понимал. Все он видел, полуслепой, но иным одаренный зрением, небывалым, особым, – насквозь.

И сказал мне Володя:

– Пойдем. Я тебя накормлю. Я знаю, ты поверь мне, одну столовую. Кормят там и вкусно, и дешево.

Собрались мы – и вышли, вдвоем, из квартиры. Потом – на автобусе мы куда-то, недолго, ехали. И зашли в известную Яковлеву, на каких-то задворках, столовую.

Там Володя заказывать стал – на двоих, да побольше, еду. По два супа. И по два вторых (две котлеты с гарниром картофельным – вот второе блюдо, и стало по четыре котлеты на каждого плюс картофельные гарниры). По два сока томатных, на каждого. И капустных по два салата. И солидную горку хлеба. И на каждого – по два компота.

Дотасили мы всю еду, на подносах, до столика. Сели в уголке за столик. И – съели все, что Яковлев заказал.

– Ты наелся? – спросил Володя.

Я ответил:

– Наелся, конечно. И тебе – спасибо огромное. Накормил ты по-царски меня.

И сказал мне Яковлев:

– Брось! Накормил я тебя – по-своему. Потому что в этой столовой иногда отъедаюсь я. Ну, когда выхожу из психушек. Там ведь плохо кормят. И я отъедаюсь здесь. Понимаешь?

Я сказал:

– Понимаю, Володя!

– Хорошо, что ты – понимаешь. А другие – не понимают. Вечно прячут меня в психушки. Будто что-нибудь я натворил. Правда, там я рисую, помногу. Но врачи картинки мои почему-то быстро растаскивают. А потом – помещают в свои, о болезнях, ученые книги. А какой я больной? Я – здоров. Просто жизнь у меня сложилась, непонятно мне –

почему, не такой, как у прочих людей. Вот, со зрением плоховато. Даже скверно совсем. И все же вижу я – не так, как другие, вижу – то, что за каждым предметом, словно тень его, молча стоит, только это не тень, а суть. – Тут Володя громко вздохнул, погрузился и спросил: – Понимаешь?

Я ответил:

– Да, понимаю.

– Слушай, шумно здесь очень. Посудой непрерывно гремят. Давай-ка поскорее отсюда уйдем.

И сказал я Володе:

– Пойдем.

Вышли мы, из паров кулинарных этой шумной, дешевой столовой, где наелись мы до отвала, на сомнительно свежий воздух.

Подышали. Потом закурили. Шли вдвоем по асфальту, к метро.

– Если я буду снова в психушке, ты меня навестишь? – спросил, морща лоб свой высокий, Володя.

Я сказал ему:

– Навещу.

– Ты куда сейчас?

– Я не знаю. Ну а ты?

– Ну а я – домой. Там – такая же точно психушка, даже хуже. А я – терплю.

– Понимаю тебя.

– Ну, пока. До свидания.

– До свидания.

Мы пожали друг другу руки. Повернул Володя – к автобусной остановке. Шел, черноглазый, в куртке слишком широкой, маленький, словно странный цветок в столичной, хаотичной, густой кутерьме. Шел – и листья, с деревьев слетающие, устремлялись за ним, и кружились за фигуркой его полудетской шелестящим, багровым шлейфом, словно так вот, совсем по-осеннему, провожая его в сияние возрастающее листопада, ну а может, и прямо к звездам, – все могло на пути случиться, все могло ведь в итоге – быть...

\* \* \*

– У тебя вся спина белая!

Что за шутки? И чей это голос?

Ворошилов остановился. Оглянулся. Взглянул, сошурившись, вдаль, назад, во дворы, откуда доносился дурацкий оклик.

На скамейке, с бутылками пива и с кусками воблы, разложенной на измятой газете, сидели, усмехаясь, трое парней.

Ворошилов сказал им:

- Придется на спине что-нибудь рисовать. Парни дружно, громко заржали.
- Длинный, ты, наверное, художник? – вдруг спросил один из парней.
- Ворошилов ответил:
- Художник.
- А меня нарисуешь? – спросил тот же парень. – Или слабо?
- А тебя рисовать я не буду. Потому что ты мне неприятен. – Ворошилов махнул рукой, словно он отмахнулся от мухи, и сказал устало: – Отстань!
- Что? – вскочили все трое парней. – Слушай, ты, художник! А ну, повтори-ка, что ты сказал?
- Ворошилов сказал:
- Отстаньте!
- Парни грозно придвинулись к нам.
- Ты, художник!
- И ты, борода!
- Схлопотать по мордам хотите?
- Шли мы с Игорем Ворошиловым по своим делам, а точнее и честнее – в поисках пива. Шли – к пивному ларьку. А тут – на пути нашем долгом – за гвоздка. Трое пьяных парней. Задиристых. Молодых. И довольно пьяных.
- Я сказал Ворошилову:
- Игорь! Нам придется объединиться.
- И ответил мне Ворошилов:
- Да, Володя! Объединимся.
- В двух шагах от нас грудой лежали груды спиленных с ближних деревьев, свежих, толстых, масляных ветвей.
- Приподнял я с земли одну ветку – и шаркнул по ней, с размаху, по наитию, видно, какому-то, резко, быстро, ребром ладони.
- Ветка, с треском необычайным, разломилась на две половины.
- Отшатнулись парни от нас:
- Каратист!
- Ребята, атас!..
- Ворошилов схватил обломок ветки в руку правую:
- Брысь!
- И парней – словно ветром сдуло. Даже пиво свое забыли, вместе с воблой, на той скамейке, где недавно сидели они.
- Ворошилов сказал:
- Володя, неужели ты – каратист?
- Нет, конечно, – ответил я. – Никакой я не каратист. И об этом прекрасно ты знаешь. Просто – так получилось. И сам я не пойму – ну как это вышло?
- Значит, свыше нас уберегли! – Ворошилов голову поднял вверх – и что-то там разглядел. – Ну ко-

- нечно! Ангелы наши. Нам сейчас они помогли.
- Согласился я с ним:
- Это – ангелы.
- Пить оставленное парнями пиво мы, конечно, не стали. Не хватало еще – за кем-то, неизвестно – кем, допивать. Гордость есть у обоих. И честь. И не в наших – такое – правилах.
- Мы отправились дальше. Мы шли по столице – в поисках пива.
- Сколько раз такое бывало! Не упомнить. Не считать.
- Но в пивнушках – не было пива. И ходить нам – уже надоело.
- И сказал тогда Ворошилов:
- Знаешь, что? Не хочу я пива.
- Я сказал:
- И я не хочу.
- Лучше выпьем с тобой газировки. Без сиропа. По два стакана.
- Я сказал:
- Газировки – выпьем.
- Автомат с водой газированной отыскали мы вскоре. И выпили, каждый – по два стакана, шипучей, освежающей, чистой воды.
- Красота! – сказал Ворошилов.
- Я сказал:
- Красота. Лепота.
- Добрались мы – сквозь летний зной, звон трамваев и шум проезжающих непрерывным потоком, по улицам, тополиным пухом засыпанным, словно призрачным снегом, машин, сквозь прибором звучащий гул голосов людских, сквозь протяжный, легкий шелест листвы, сквозь день, незаметно клонящийся к вечеру, сквозь желание выпить, которое мы оставили позади, там, в недавнем, но все же былом, до знакомого всей московской, удалой, развеселой богеме дома, где обитал я тогда.
- Чинно, скромно зашли в подъезд. Поднялись на седьмой этаж в лифте. Ключ отыскал я в кармане. Дверь квартиры открыл. Мы шагнули, друг за другом, через порог. Оказались внутри. В какой-то удивительной полупрохладе. Так могло показаться нам после наших дневных походов по жаре. Отдыхались. Чай заварил я. Крепкий. И вкусный. «Со слонем». Когда-то считался он едва ли не самым лучшим. Пили чай мы. Вечер настал. Свет зажег я. Включил проигрыватель. И поставил пластинку. Баха.
- Волны музыки поднялись высоко, заполнили комнату, потянулись к двери балконной приоткрытой, проникли в наши, молодые еще, сердца, в души наши, вошли в сознание, в память, в жизнь, в наши судьбы,

в прошлое, настоящее и грядущее, в явь, которую мне приходится – через годы – воссоздавать, в книгу эту, в стихию речи, чтобы слышать – и прозревать...

Однажды зимой, в январе, встал Ворошилов на постой, временно, ненадолго, у одной своей знакомой.

Начал там рисовать – и увлекся. Время для него сместилось. Где ночь, где день, он уже не разбирал. Слово в другом измерении находился. Только и делал, что работал. Ни о каких там амурах и речи быть не могло. Просто – в очередной раз дорвался художник до возможности, до смешного простоя, – в домашних условиях, у хорошей знакомой, любящей искусство, поработать. Вот он и потрудился на славу.

Я приехал к нему в Медведково – и ахнул. Куда ни повернешься, куда ни шагнешь – везде были Игоревы работы. Да какие! Нередко – шедевры. Живопись в основном.

Работы грудями лежали на полу, под ногами, свалены были возле стен, кое-какие – прикреплены кнопками на стенах, валялись в прихожей, на кухне, заполняли все жилое помещение этой однокомнатной квартиры.

Посреди них, босиком, расхаживал довольный Ворошилов.

Он показывал мне свои создания – вот ведь какая счастливая случайность: хотел здесь просто переночевать да, возможно, немножко порисовать, да вдруг как пошло, и остановиться уже невозможно было, и он двигался вперед, рисовал и рисовал, благо хозяйка подсобила и с красками, и с бумагой, и ничего искать не надо было, все оказалось под рукой, и никуда уходить не надо было, в ночь, на холод, а можно было сидеть себе здесь, в тепле, и вкалывать, – и вот он, результат.

Ворошилов делал широкий жест рукой – и указывал на то, что он здесь наработал.

Увиденное не просто впечатляло. Скорее, оно изумляло. Озадачивало. Потрясало.

Это какая же творческая энергия должна быть у человека, чтобы единым духом, без всяких перерывов, за несколько дней, столько всего понамаковать!

Картинок хватило бы на несколько больших персональных выставок.

Ворошилов расхаживал среди них, как пастырь среди своего стада. Но напоминал еще и доброго волшебника, столько чудес нежданно сотворившего, – только вместо волшебной палочки была в его

руках просто кисть. Впрочем, наверняка – волшебная, сомнений в этом быть не могло.

Ворошилов выразил желание купить пива.

У меня было несколько рублей. Мы отыскивали две пустых трехлитровых банки, закрыли их пластмассовыми крышечками. Сунули наши банки в авоськи. Вот теперь можно было и отправляться на поиски пива.

Мы накинули свои пальто – и вышли на улицу.

И тут-то я подумал: ну зачем нам нужно это пиво – сейчас, зимой? Но было уже поздно. Коли решили идти за пивом – его следовало еще и найти. Не так-то просто было сделать это в прежние годы.

На улице стоял мороз. Да еще какой! Лютый, и только. Январский. Градусов двадцать пять, наверное.

Вся округа, все Медведково, казавшееся нам тогда глухоманью, дальней, совершенно неизведанной московской окраиной, было завалено снегом. По обе стороны от расчищенных без усталы работающими дворниками дорожек на тротуарах возвышались монументальные сугробы. Но снег продолжал сыпаться сверху крупными хлопьями. И на тротуарах ноги вскоре увязали в нем по щиколотку, а потом и почти по колено.

Где искать пиво в этом занесенном снегами Медведкове?

Мы с Ворошиловым шли и шли, наобум, наугад. Передвигались от квартала к кварталу. Расспрашивали прохожих – где здесь пивные ларьки. Подходили – и очередной ларек оказывался закрытым. Приходилось топтать дальше.

Мы уже совсем устали и замерзли, когда увидели наконец впереди открытый пивной ларек.

Само собой, стояла к нему немалая очередь. Посреди густого снегопада, облепленные снегом, люди напоминали оживших снеговиков.

Каким-то образом удалось нам проникнуть поближе к раздаче пива. Кажется, Ворошилов пронюхав, добром обратился к какому-то парню, доброму на вид, и тот пропустил нас без очереди.

Мы налили в наши трехлитровые банки столько пива, сколько в них поместилось.

Взяли себе по кружке – и отошли в сторонку, за ларек, чтобы не спеша выпить пивка.

Загадкой оставалось – как мы его, ледяное, сумеем выпить на улице, на таком морозе?

Но об этом старались мы не думать.

Сейчас важно было – совершить ритуал. Этак своеобразно отметить у незнакомого ларька, выпив по кружке мутного пива.

Мы встали за ларьком. Пригубили пива.

И вдруг... Вдруг нам перехотелось пить.

Мы увидели – жуткую картину.

За пивным ларьком высился здоровенный сугроб.

Прямо в этом сугробе, на снегу, сидел пожилой мужик. Горло его было обмотано бинтами. Из-под этих грязных бинтов, прямо из горла, изнутри, торчала какая-то трубка.

Мужик молчал. Но время от времени издавал, изнутри, сквозь эту торчащую наружу трубку, какие-то звуки – всхлипывания, всплески, бульканье, хрипы, шипение.

Мужик, сидя в одиночестве, чего-то с нетерпением ждал.

И вскоре к нему подошло еще двое мужиков. У них в руках были кружки с пивом. Они поставили свои кружки на снег.

Один из них достал из-за пазухи бутылку водки. Быстро открыл зубами пробку. Достал из кармана пустой стакан. Привычно налил в стакан нужную порцию – такую, какую всегда наливали, распивая на троих.

Потом, с водкой, налитой в стакан, этот мужик подошел к сидевшему в сугробе пожилому мужику.

Тот сделал нетерпеливый жест рукой – ну, давай, мол, давай, скорее!

Мужик со стаканом поднес этот стакан прямо к трубке, торчащей из-под бинтов, изнутри, у сидевшего в сугробе пожилого мужика, – и стал аккуратно переливать водку из стакана прямо в трубку.

Мы с Ворошиловым с ужасом смотрели на это занятие.

Наконец вся водка из стакана была перелита в трубку.

Мужик с забинтованным горлом побагровел, слегка оживился. Опохмелился, стало быть. Надо полагать, водка попала прямо в желудок. Горла, скорее всего, у него не было. Наверное, было оно вырезано. Посему приятель-алкоголик и лил ему, алкоголику, водку прямо в желудок.

Мужик с забинтованным горлом говорить ничего не мог. Он только благодарно хрюкал.

Его приятели в момент опорожнили, по очереди, стакан с водкой. Тоже оживились. Закурили. Присоединились к приятелю. То есть уселись рядышком с ним в сугроб. Всем троим стало им хорошо. Все опохмелились. Все возвращались к жизни. Теперь они сидели в сугробе и прихлебывали из кружек свое пиво. И даже пива немного умудрились налить в трубку мужику с забинтованным горлом.

Какой жуткий символ!словно сама эпоха, с вырезанным, забинтованным горлом, уже без голоса, без

речи, но жаждущая алкоголя, а с ним и некоторого забытья, сидела в сугробе, на московской окраине, посреди снегопада, в пору середьзимья, – вот здесь, перед нами!..

Через силу выпили мы с Ворошиловым пиво – и даже не пошли, а побежали по снегу, поскорее, поскорее, в тепло, в квартиру, где можно будет, до прихода хозяйки, посидеть на кухне вдвоем, покалякать, – ну а потом собираться и уходить, мне – домой, Ворошилову – куда-то, а куда – он еще не решил, да и не все ли равно было, куда идти теперь? На дворе зима, и холодно, и мороз вон какой сильный. Одно утешение – что хорошо поработал.

Было самое начало года – и впереди ждало неизвестно что, и зачем загадывать, когда, быть может, все сложится как-то само собою, достаточно хорошо, для того, чтобы жить и работать.

Снег шел и шел, и мороз все крепнул, и сплошная белизна вставала перед глазами, заполняя видимый мир, а с ним и то будущее, которое ждало нас где-то там, за снегами, за холодом, далеко, далеко, впереди...

А однажды Ворошилову так надо было похмелиться, что куда угодно пойдешь, лишь бы только добыть спиртное, или денег достать немного, и купить магазинное пойло, заглотнуть его и спастись, – вот он и пошел к Кабакову, а где мастерская – забыл, помнил только, что на чердаке всем известного, несуразного, не вполне московского с виду, чужестранцем стоящего дома на Сретенском бульваре.

Ничтоже сумняшеся, забрался он из мрачноватого внутреннего двора по наружной пожарной лестнице на крышу, нетрезвый еще, и пошел искать Кабакова.

А на этой крыше лет семьдесят жили полчища котов и кошек, никогда не спускавшихся на землю, и очень они мешали Игорю в его хождении по опасным высотам, но Игорь старался по возможности меньше внимания на них обращать, а сконцентрироваться только на одном-единственном: поисках каких-нибудь примет кабаковской мастерской, где, он твердо верил, застанет он Илью, который его, конечно же, выручит.

И он нашел-таки Кабакова, увидел его в окне, тот принимал иностранцев, кажется – чехов.

Игорь постучал в оконное стекло и очень вежливо сказал:

– Илья, займи, пожалуйста, рубль!

Гости кабаковские обомлели, ибо сверху, с неба, нависала над ними громадная фигура неведомого

им, весьма колоритного человека, выразительно показывавшего палец: всего один рубль нужен!

А Кабаков тоже изумился, но рубля почему-то не дал, хотя мог бы вполне, за такое-то ворошиловское геройство – найти его, пройдя по крыше высоченного и многокорпусного, дореволюционного еще дома, постоянно рискуя поскользнуться и свалиться вниз, да еще и среди мечущихся вокруг, путающихся под ногами и орущих на разные голоса высотных котов и кошек, – и что им двигало – непонятно, поскольку, выдав рубль отважному художнику, он вовсе не обеднел бы.

И пришлось Ворошилову, несолоно хлебавши, без рубля, о котором он так наивно мечтал, обратно идти по крыше, слезать вниз по узкой, ржавой лестнице, – и все это, не забывай, было с похмелья, и подвиг его по добыче заветного рубля в одночасье был поскупившимся на доброе деяние Кабаковым принижен, и это его огорчило безмерно, да все же сумел он преодолеть эту горечь, стерпел, проглотил обиду, сжал зубы, сумел собраться с силами, чтобы с высоты почти поднебесной, надкабаковской, спуститься на землю московскую.

И слез он по лестнице, и оказался в глухом, с четырех сторон закрытом высоченными корпусами, пустом дворе.

И ощутил он тогда в душе даже не грусть, а горечь.

И тогда, ведомый чутьем, перешел он дорогу, и теперь уже не поднялся, а спустился вниз, в подвал, в мастерскую к Эрнсту Неизвестному, и обратился к известному скульптору со своим наиболее болезненным вопросом об одном-единственном, необходимейшем для опохмелки, рубле.

И тот, совсем другой человек, нежели Кабаков, сразу все понял.

И в ужас пришел, когда Ворошилов поведал ему о недавнем своем подвиге с походом по крыше среди кошачьих стай и поисками окна в мастерской кабаковской.

И выдал Эрнст Ворошилову не просто рубль.

Нет, он, мужик бывалый, сам хорошо знающий, каковы некоторые состояния и как в них бывает порою тошно хорошему человеку, и особенно художнику, поскольку сам он был, как известно, человеком пьющим, нередко и крепко пьющим, что удивительным образом не отражалось никогда на его фантастической работоспособности, – он, Эрнст, человек широкий, до глубины души пораженный и ворошиловским видом, и кратким его рассказом о тщетных поисках столь важного для поправления здоровья одного-единственного рубля, дал Ворошилову денег, искренне,

от души, по-дружески присоветовав не экономить на себе самом, а опохмелиться по-человечески, по всем правилам, так, как он обычно это делает.

Но прежде всего Эрнст сделал самое важное: он здесь же, на месте, в своей подвальной мастерской, налил, щедро, без всяких лишних движений, бражки собственного изготовления, благо бражка сия, в немалом количестве, в нескольких десятилитровых бутылках, мутноватая, да зато крепкая, надежная, с плавающими за стеклом размякшими апельсиновыми и мандариновыми корками, постоянно была под рукой, на всякий случай, и сейчас вот очень даже пригодилась, для того, чтобы выручить Ворошилова, которого Эрнст очень ценил как художника и который был ему всегда симпатичен, и по-человечески, и как земляк, тоже, как и сам он, с Урала, – да, щедрым, точным, привычным жестом налил Эрнст смущенному и разволновавшемуся Игорю один стакан бражки, потом другой, а потом и третий, чтобы наш герой прямо при нем похмелился, поправил, хоть немного, для начала, здоровье, успокоился, отдышался, – да и сам с ним выпил, – и только потом уже, позже, когда оба они и выпили, и символически закусили, и успели поговорить, и взвинченность ворошиловская прошла, схлынула, а на смену ей пришло спокойствие духа, лично, воочию убедившись в том, что он спас Ворошилова, Эрнст разрешил ему покинуть свою мастерскую и благословил на дальнейшее выздоровление.

Показательно, не правда ли?

Об этом случае позже Ворошилов рассказывал мне с изумлением – ну что его понесло тогда на крышу? и что за наивное желание – обрести заветный рубль – завладело им тогда? – и что за надежда, тоже наивная, на кабаковское понимание ситуации, возникла в его душе? – сам он толком не понимал, почему это происходило.

Но зато об Эрнсте Неизвестном – и его понимании ворошиловского состояния, и его мужской солидарности с ним, и его человечности – говорил Ворошилов не единожды с восхищением, с уважением, с благодарностью.

Да и сам Эрнст, вскоре после этого случая, сказал мне, что хотел бы повнимательнее посмотреть ворошиловские работы.

И я не поленился принести ему некоторое количество картинок.

И Эрнст Неизвестный внимательнейшим образом, посерьезнев, собравшись внутренне, как-то решительно, сразу же войдя в ворошиловский мир, углубившись в него, сосредоточившись, изучал Игореву живопись и большую стопку графики.

И потом сказал мне:

- Какой художник! Да, Ворошилов – очень талантливый человек. Невероятно талантливый человек! Я так рад за него. Ты обязательно это ему передай, Володя!
- Конечно, передам! – сказал я.
- Пусть Игорь всегда заходит ко мне! – сказал Эрнст. – Я ему всегда буду рад.
- И я передал эти слова Игорю.
- Он вначале смутился. А потом весь расцвел.

Вот ведь как важно иногда слово, сказанное вовремя собратом по искусству, да еще и человеком хорошим.

Однако слишком часто заглядывать к Эрнсту Ворошилов стеснялся. Деликатность его срабатывала.

Но встречи у них бывали, конечно. И хорошие встречи.

И о поступке Эрнста, о том, как он выручил Ворошилова, поневоле, от отчаяния, по счастью – ненадолго, да все же в свое время ставшего таким верхолазом, Игорь никогда не забывал.

...В шестьдесят восьмом? Да, пожалуй. Поздней осенью. Да, наверное. Где-то в самом конце ноября, полагаю. Однажды вечером.

Ворошилов зашел в квартиру, как герой, вернувшийся с фронта, после многих сражений, с видом победителя, с грудой работ на картонках, в обеих руках, – и швырнул их на пол, сказав, приказав, скорее, призвав сразу всех, к немедленным действиям, тоном маршала:

- Выбирайте!

Собралась у меня тогда, по традиции прежних лет, вечерок скоротать, стихи почитать, большая компания.

Все – как будто бы пробудились. Налетели, толкая друг друга, на картины, сюда принесенные Ворошиловым, новые, свежие, сразу видно, что очень хорошие, даже больше, просто чудесные, и шедевры есть, посмотрите-ка, ну и ну! – и давай выбирать.

Я сказал:

- Что ты делаешь, Игорь?

Ворошилов:

- Пусть выбирают!

Выбирали. Через минуту разобрали работы, все.

Я сказал:

- Человек – трудился. Что ж вы – так? Налетели, как хищники, на картинку – скорей, скорее, ухватить для себя, урвать!..

Но богемная публика эта даже ухом не повела. Получили работы, задаром, – и прекрасно, и все довольны. Пьют вино, дымят сигаретами, говорят

о своем, картинку, между делом, с видом прожженных знатоков, спокойно рассматривают. Как их много! И все – с претензией на свою особенность, все – с самомнением, с гонором, с хваткой, на поверку, быстрой и цепкой.

И тогда я сказал всей компании:

- Расходитесь. Мне надо работать.
- Поворчав, компания стала расходиться.
- Сказал я Игорю, громко, твердо:
- А ты – оставайся.

Дверь захлопнулась за последним из богемщиков. И квартира опустела. Стало просторней. И спокойней. Открыл я дверь на балкон, чтобы все проветрить. Сигаретный дым, как туман, полосой потянулся на улицу. Заварил я на кухне чай. Открыл холодильник. В нем было пусто почти. Но я приготовил два бутерброда. И позвал к себе Ворошилова:

- Игорь, где ты? Иди пить чай.

Ворошилов, с книгой в руке, – это был им любимый Хлебников, – длинный, тихий, в домашних тапках, в брюках, красками измазанных, старых, рваных, коротковатых, в мятой, старой рубашке, задумчивый почему-то, пришел на кухню.

Пили чай мы. Вдвоем. За окном различить, напрягая зрение, можно было два старых тополя, облетевших, тех, о которых я сказал Ворошилову как-то, что один из них – мой, а другой – ворошиловский. Игорь с этим согласился тогда. Всякий раз, появляясь вновь у меня, он искал вначале глазами, в оконную щурясь хмарь, эти старые тополя.

Эти старые тополя – сохранились. Во всей округе – все снесли, деревья спилили, понастроили новых домов. Только два этих старых тополя, мой – один, другой – ворошиловский, словно память о прежней эпохе, да и память о дружбе, – стоят. Все на том же месте. Живые. Ветераны. Свидетели грустных лет, овеванных славой нынешней. И листовой – сквозь боль – шелестят...



# БЫТЬ БАРАНОМ



ВЛАДИМИР ГЕНДЛИН  
Журналист и телекомментатор, оноло двадцати лет проработал на творческих и редакторских должностях в Издательском доме «Коммерсантъ». Публиковался в журнале «Октябрь» (рассказ «Лихоман», 1994).

Все случилось в первый же день. Это было 1 декабря 1997 года, Том Лэмб прилетел пятичасовым рейсом Дели – Москва. В Шереметьево его встретил приятный молодой человек Коля, представитель новых российских партнеров, и отвез в пятизвездочную гостиницу в центре Москвы. Они согласовали расписание встреч: вечером ужин с руководством компании, на завтра – с утра посещение мясокомбината, куда Мясной союз будет поставлять новозеландскую баранину, днем экскурсия по Москве, вечером – некий загадочный «приятный сюрприз». Послезавтра кульминационный момент – подписание трехлетнего контракта на поставки мяса, после чего банкет и вылет утренним рейсом Москва – Дели – Окленд.

Это была вторая поездка мистера Лэмба в загадочную экзотическую Россию, и он ждал ее с нетерпением. Еще два года назад, когда он прилетал подписывать контракт с первой российской дистрибьюторской компанией, ему понравилось ловить ртом снежинки на лету, разглядывать из лимузина ночную набережную Москвы-реки, разговаривать с русскими на их странном русском языке, который учил еще в школе, и вообще ощущать себя на перекрестке Запада и Востока, Европы и Азии. Его даже умиляли эти наивные русские «приятные сюрпризы», означавшие, по слухам, обычную пьянку в бане в компании нежных славянских сирен.

Отпустив Колю, Том решил разобрать свои вещи и принять душ, но услышал телефонный звонок.

- Привет, Том! – раздался знакомый бодрый баритон. – Я тут провожал приятеля и случайно увидел твое имя в списке гостей. Страшно рад тебя слышать! Как дела? Какими судьбами?
- О-о, Витал! – воскликнул Том. – Я удивляться ты меня нашел! Я так рад. Мы обязательно надо встретиться. У меня есть новости для тебя.
- У меня тоже. Слушай... Давай я быстро заскочу к тебе, а? Я тут в лобби торчу. Разговор всего на пять минут, но это срочно. Спасибо, сейчас буду.

Том не успел вежливо отказать, как Виталий бросил трубку.

Том задумался. Странно, что Виталий оказался в отеле одновременно с ним. И непохоже, что это случайно. Откуда-то он узнал о цели его приезда и, видимо, заволновался. В любом случае придется его успокоить, но Тому не хотелось тратить на это силы сразу после самолета.

Виталий вошел в номер в сопровождении гориллы устрашающей комплекции и мрачного вида. Вид Виталия тоже не внушал радость.

- Прости, но времени у меня мало, так что сразу перейду к делу, – устало сказал Виталий, усаживаясь в кресло. Громила остался стоять у двери. – Скажу прямо: я знаю, зачем ты явился. И я очень огорчен.

- Не надо быть огорчен, – поспешил перебить Том. – Все в порядке, мы остаемся партнеры...
- Нет, ты не понял. Я очень огорчен и разочарован. Мы столько работали вместе. Все было так хорошо. Я думал, мы не просто партнеры. Мы больше чем партнеры. Мы эксклюзивные партнеры. И что я вижу? Ты прилетаешь разговаривать неизвестно с кем, с какими-то голодранцами, растишь для нас конкурентов. Зачем, Том? Тебе с нами плохо? Том присел на диван и тяжело вздохнул.
- Я понял. Но ты все неправильно понимать. Не был такой условий, как эксклюзив партнершип. Позиций Мясной союз есть прямой – должен быть компетишн. И должен быть сэйлс. Мы доволен работать с вами, и мы хотим быть доволен работать с другими. С любой кто хочет. Один команда не справится, российский маркет очень великий. Мы завтра подписать контракт с новый дистрибутор, и мы продолжать работать с вами. Ноу проблем.

Том мягко улыбнулся.

Виталий тоже улыбнулся какой-то застывшей улыбкой, после чего долго смотрел на Тома незнакомым стеклянным взглядом. Потом заговорил, и в голосе его зазвучало прямо-таки неприличное для взрослого человека раздражение.

- Значит, так... Ви завтра не «подписать никакой контракт». Ви завтра улетать домой, чтобы я ноги твоей тут не видел, понял? И моя настрять на твой Мясной союз и его позицию, понял? А перед тем как улетать, мы внесем дополнение к договору – об эксклюзивных условиях работы. И чтобы не было тут никаких новых дистрибуторов. Вот так мы теперь будем работать. Потому что это наш рынок и я лучше знаю, как здесь надо работать. Ты понял?

Всю эту тираду Том выслушал с широко раскрытым ртом, не веря своим ушам. Этот русский будет учить его, с кем можно встречаться, с кем нельзя, с кем он, Том Лэмб, должен работать и с кем не должен! И этот парень думает, что может позволить себе говорить с ним, человеком намного старше его, столь неприемлемым тоном!

С трудом сдерживая гнев и тщательно подбирая слова, Том ответил:

- Извини, Витал, но ты не мой менеджер. Ты мой партнер. Ты не можешь командовать. А я делать то, что считать нужным, и то, что в интересах Мясной союз. О'кей?

Тут Виталий взорвался:

- Ты что, тупица?! Ты понял, что я не спрашиваю, чего хочет твой Мясной союз, или не понял? Ба-

ран ты новозеландский! Ты будешь делать, что я хочу, или убирайтесь в задницу с нашего рынка! Мы найдем других поставщиков, которые правильно понимают, кто здесь хозяин.

Том Лэмб сдвинул брови и, дрожа от волнения, выкрикнул:

– Я не есть баран! Не смей мне кричать!

- Ты не есть баран? – Виталий весело рассмеялся и развалился в кресле. – Сейчас посмотрим, кто ж ты есть, если не баран. Валек, ну-ка...

Громила отделился от двери и вышел в центр комнаты. Том Лэмб непроизвольно откинулся на диване и с ужасом заподозрил, что сейчас его будут бить. Такого он не мог представить себе даже в страшном сне.

Но Валек сделал совсем другое. Он достал из-за пазухи старый, весь в лохмотьях блокнот, и стал его неловко листать своими здоровенными пальцами. Наконец, нашел нужную страницу, выставил блокнот вперед и стал читать:

- Ахтуб... Махтуб... Айялай... Сарай... Айран... Байрам... – И под конец страшным голосом взвизнул: – Баран!!!

На последнем слове Том почувствовал себя как на гипнотическом сеансе: в глазах вдруг все помутилось, голова закружилась и дико заболела, как от мигрени, тело одеревенело, и он повалился ничком на пол.

Едва придя в себя, Том услышал гомерический хохот Виталия. Тот стоял над ним и казался великаном, так что Том даже не мог охватить его взглядом.

- Ну-ну. Все как заказывали. Самый натуральный баран, – услышал Том голос Виталия. – Посиди пока тут и пораскинь своими бараньими мозгами. А я через часок загляну и посмотрю, как ты заблеешь.

Том словно сквозь туман увидел, как удаляются ноги Виталия и его спутника. Он постоял на четвереньках, упершись головой в пол, затем попытался встать, но потерял равновесие и опрокинулся навзничь. «Неужели накачали наркотиками? – с ужасом подумал Том. – Что это – героин? Морфий? Какие еще бывают? Боже, до чего болит голова...»

Том вдруг услышал, как неожиданно громко за скрипели его зубы, когда он непроизвольно задвигал челюстями. Надо немедленно позвонить в полицию. И еще срочно заказать разговор с Оклендом. Мерзавец, каков мерзавец! Как эти русские меняются, когда начинают дрожать за свои деньги.

Стоп. Он придет через час. Том вдруг понял, что никогда, никогда в жизни больше не сможет встре-

титься с Виталием. Все его воспитание, весь его деловой опыт и заработанная годами репутация вдруг оказались в кричащем противоречии с той манерой, с тем тоном, которые позволил себе этот тип, так что он больше никогда не заставит себя подать ему руку.

Он потянулся за телефонной трубкой, но рука его не слушалась, и он чуть снова не завалился на бок. Он оглядел себя мутным взглядом и вообще не обнаружил никакой руки. Вместо нее висела какая-то лохматая куля с твердым обручком на конце. У него зашевелились волосы на голове, и даже не только на голове, но и, как показалось, на спине. «Мне отрубили руки!» – поразила его мысль, и в панике он метнулся к двери.

Массивная деревянная дверь громко треснула от удара его головы. Том Лэмб даже почувствовал странное удовольствие от столкновения с дверью, какой-то необычайный прилив сил во всем теле. Так же, на четвереньках, он развернулся, отбежал вглубь комнаты и с разбега снова атаковал дверь. В двери образовалась дыра. Выбив головой остатки дерева, мистер Лэмб вылетел в коридор и оказался прямо перед лифтами.

Как раз в это время открылась дверь лифта, и Том ворвался внутрь, машинально бормоча слова извинения: «Сорри, ай’м сорри». Тут он услышал громкий женский визг и растерянный мужской голос: «Спокойствие! Надо сохранять спокойствие! Если его не пугать, то он нас не тронет». И тут же громкий детский крик: «Мама! Мама! Смотри, какой миленький! Можно мне его погладить?» И тут же еще громче: «Доча, не трогай! У него блохи! Он тебя укусит!» А затем громкий взволнованный бас: «Откуда здесь эта тварь? Это гостиница или зверинец?»

Том Лэмб почему-то не помещался в этом огромном лифте и, как ни крутился, все время попадал носом то в чьи-то колени, то вообще под юбку дамам, отчего чувствовал себя крайне неловко, и вновь бормотал свое «сорри, мэм, сорри, мэм». Один раз он столкнулся лицом к лицу с маленькой девочкой, чем вызвал у нее визг и хохот, и тогда она вдруг схватила его за уши и со всего размаху чмокнула мокрыми губами прямо в нос.

Тут лифт остановился, и вся толпа, прижимаясь к стенкам, задвигалась наружу, довольно грубо отпихивая Тома коленями. Том понимал, что своим вторжением принес некоторое неудобство окружающим, однако бесцеремонное поведение соседей показалось ему чрезмерно невежливым. В это время он услышал, как дамы и господа громко заголосили: «Охрана! Охрана! Скорее поймайте этого барана!»

Том почему-то сразу принял «барана» на свой счет, и ему показалось очень обидным, что уже второй раз за какие-нибудь полчаса пребывания в этой стране его обозвали бараном. Но когда из лифта выбежал последний пассажир, он действительно мельком увидел в зеркалах кабины какого-то барана. С виду чистопородный меринос. Странно, что до сих пор он его не заметил. Точнее, это отражение промелькнуло, уже когда Том выходил (или выползал из лифта на четвереньках?), и он даже развернулся обратно к лифту, чтобы внимательнее рассмотреть животное. Но в это время двери лифта закрылись.

Том был сильно взволнован стычкой с Виталием, его сердце отчаянно колотилось, и он попытался успокоиться. Повернувшись в сторону выхода, он увидел бегущего охранника и решил обратиться к нему за помощью. С криком «Сэр, вызовите полис! Полис!» Том Лэмб засеменял к нему, но тот повел себя странно: ухватил Тома руками за что-то торчащее у него где-то за ушами и попытался пригнуть его голову к полу. Том дернул головой, и охранник растянулся на полу, выронив рацию, а Том проехался по скользкой плитке несколько метров вперед.

Восстановив равновесие, Том развернулся и поспешил охраннику на помощь со словами «May I help you?». Тот только начал подниматься, но Том вновь поскользнулся на полу и нечаянно боднул его в зад. Охранник упал без движения. Потом нашарил рукой рацию и одним прыжком взлетел на прилавок газетного киоска. Том услышал, как тот передает по рации: «Животное в холле. Животное в холле в районе лифта, все сюда. Как поняли?» И тут же скрипучий ответ: «Какое животное-то?» «Баран, баран. Как слышно?» И ответ: «Слышу тебя хорошо. Баран в районе лифта. Сейчас подойдем». И новый собеседник: «А точно баран? Не крокодил?» И охранник: «Точно баран, не крокодил. Но он бешеный». И в ответ ленивое: «Не пугай, я тоже бешеный».

Полный недобрых предчувствий, Том поспешил к выходу. Нужно срочно разыскать менеджера отеля. Он понимал, что с ним не все в порядке, и сейчас требовался ответственный человек, облеченный властью в этом отеле, с которым возможен цивилизованный разговор, какая-то помощь, ну, и вообще весь сервис, полагающийся постояльцам в отелях подобного уровня.

Но едва он приблизился к лобби, как увидел двух бегущих охранников с резиновыми дубинками. Они бежали прямо на него, и что-то подсказало ему, что лучше с ними разминуться. Том сильно взял вправо, но успел схлопотать дубинкой по спине, так что все тело свело судорогой. Ничего не видя пе-

ред собой, Том ударился головой о витрину бутика и, осыпаясь тяжелыми осколками стекла, влетел в стойку с дамскими платьями и женским бельем. Развернувшись на полу, он сшиб пару манекенов и дверь примерочной кабины, насмерть перепугав полуодетую женщину, и бросился обратно в холл.

Ему сильно мешали бежать какие-то кружевные тряпки, прицепившиеся к ноге, и он вновь столкнулся с охранником, отправив того головой в нокаут. «Не я все это затеял, ребята», – мысленно оправдывался Том Лэмб. Но в это время один из охранников бросился на него сбоку, вывернул его голову, опрокинул на бок и придавил всем своим корпусом. Тут же подоспели другие охранники и принялись охаживать его дубинками, бить ногами в живот и в пах, кулаками по лицу.

Том почел за благо не сопротивляться и попытаться договориться.

– Господа, я есть иностранный подданный! – закричал он. – Это есть недоразумени! Хочу говорить с менеджер хотела! Хочу вызывать консул оф Нью-Зиланд! Хочу вызывать полис!

– Сука, еще орет чего-то, – сказал охранник, который его держал, и двинул его кулаком в нос. – Молчи, падла.

А другой охранник пнул Тома ногой в живот. Том обмяк и больше не шевелился. Потухшим взглядом он смотрел в отражение на полированной стене, где здоровенный охранник, как на родео, лежал сверху на баране и крепко держал его за рога.

Наряда милиции пришлось дожидаться томительно долго, минут пять или семь. Они с напускной леницей вошли в холл гостиницы, но при этом несколько неуверенно озирались на окружающее их великолепие. Оба были молодые, один с лычками на погонах и с кобурой, другой без лычек, но с автоматом. Том Лэмб покорно стоял рядом с охранниками, которые придерживали его за рога на всякий случай, чтобы не вздумал сбежать. Том был подавлен, в первую очередь своим внешним обликом.

– Вот, говорит, что иностранный подданный, – объявил один из охранников. – Надо бы проверить личность.

– И с каких это пор у нас бараны разговаривают? – осведомился сержant.

– Да это не наш баран, это какой-то австралийский.

– Ай`м фром Нью-Зиланд, – осмелился вступить в разговор Том Лэмб. – Из Нови Зиландиа. Я приехать по бизнес, делать поставки баранина в Россию.

Сказал и сам понял, до чего глупо это прозвучало.

– Разберемся, – солидно ответил молодой человек с автоматом.

– Ну, и что мне с ним делать? – сказал сержant. – В зоопарк везти?

Тут подскочил охранник, который изловил Тома и бил его в нос.

– Ну, какой зоопарк, какой зоопарк? Ты чего? Пусть сначала за ущерб заплатит. Он одних витрин побил тут на сто тысяч баксов. Или на миллион. Если такой крутой иностранец, пускай бабки башляет.

– Откуда у барана бабки, ты че? – вновь вступил в беседу парень с автоматом.

– А документы у него есть? – спросил сержant. – А у хозяина его документы есть?

– Мое имя Том Лэмб, – сказал Том. – Я из номер шесть один два. Спросите у менеджер хотела.

– Да сиди ты. Тебя не спросили, – одернул его охранник, державший за правый рог.

Менеджер отеля уже отказал Тому в помощи, заявив, что не собирается вести переговоры с бараном. А Том уже успел смириться с тем, что его социальный статус серьезно понизился.

Сержant включил рацию.

– Старший сержant Пучков. Тут один баран витрины побил. Утверждает, что гражданин иностранного государства.

Рация помолчала и поскрипела, потом спросила: «Пьяный, что ли?»

– Да я его что, нюхал? – ответил сержant. – Но точно не в себе.

– Ну, так вези его в отделение.

– Так это ж баран!

– Сам ты баран. Вези в отделение.

– Е-есть везти в отделение, – вяло ответил сержant. – Блин, да нас там засмеют все. А ну пошли давай! Цоб-цобэ!

Он поддал Тому сапогом под зад.

– Эй, сержant, ты б ему наручники надел. Он здоров бодаться, скотина такая.

– Куда я ему наручники, на рога надену, что ли? – обернулся сержant.

Тома подвели к милицейскому джипу и довольно грубо закинули в зарешеченную заднюю дверь.

– С какой целью вы въехали на территорию Российской Федерации? – Дежурный капитан смотрел на Тома Лэмба пристальным, пронизательным взглядом.

– Деловая поездка, – ответил Том Лэмб. Он уже понял, что с этими людьми не стоит вдаваться в лишние детали.

Капитан мотнул головой и издал какой-то «х-ххех».

- Ну, а если начистоту?
- Я повторял: моя цель – переговоры с деловые партнеры, подписаний контракт.
- А если в репу?
- Не понимай. Сорри?
- Не понимай? Ты мне скажи: с кем же ты контракты подписывал – с такими же баранами, а? Слушай-ка, если ты такой умный, что договоры подписываешь, деловые переговоры ведешь, то должен понимать, что в милиции шутки плохи. Хочешь, я тебе устрою отдых по полной программе? Пожалеешь, что на свет родился!
- Сорри, я сказать правда. Ай’м бизнесмен, иностранный гражданин. Прошу вас обратиться в консульство Нови Зиляндии.
- Бизнесмен, да?! Иностраный гражданин?! – вдруг вскипел капитан. – А что ж ты, сука, витрины бил?! Консула тебе подавай? Приедут, гады, накрутятся как свиньи и давай витрины бить, а потом за консула прячутся! А мы тут расхлебывай, да?!
- Это есть недоразумэни. Ай’м сорри. Я обещаю платить пеналти. Но для этого мне должен встречать мой консул.

Капитан долго смотрел на сидящего в клетке горающего барана. Потом вытер со лба пот рукавом и безнадежно махнул рукой.

- Ну, что ты с ним поделаешь... – сказал он усатому сержанту с автоматом.
- А что, товарищ капитан, может, правда позвонить в посольство? Может, они за него заплатят. Вдруг это и правда их баран? Может, они его ищут?

Капитан уставился молча в пол. Потом резко развернулся к клетке.

- Ну что, они за тебя заплатят? Ручаешься?
- Уверен, оффисер.

Капитан снова повернулся к сержанту и тихо пробормотал:

- Вообще, сумма-то немаленькая. Даже если пять-сот баксов накинут... Да не, тыщу минимум. Слышь ты, если не заплатят, я тебя в спецприемник отправлю, будешь там сортиры чистить до посещения... или что ты там делать умеешь. Сгниешь там, понял?
- Поняль.
- Вот так бы сразу. А то деловые партнеры, деловые партнеры...

Капитан зашел в свою каморку и снял телефонную трубку. Через минуту Том слушал обрывки его разговора.

«Алло, плиз, консула мне. Или кого-нибудь... У нас тут ваш гражданин из Новой Гвинеи... Эй, откуда ты там? А, из Новой Зеландии. Он тут нахулиганил немножко. Ущерб нанес... Да... Да... Да нет, точно ваш товарищ. И лицо такое, и акцент чисто... ваш. Надо бы забрать его. Да, слушайте, только мы его отдадим, если вы ущерб компенсируете. Мы можем сделать скидку в рамках международных отношений, но... если договоримся, короче. В общем, поговорим тет на тет. Нет-нет, лучше сегодня, он вас так ждет. Жалко товарища. Ага. Ага. Нет-нет... Это точно ваш человек. То есть он не совсем человек... То есть я хотел сказать, что он совсем как человек, в смысле разговаривает и все такое, но внешне... будто устал сильно. Да... ну, там, рога у него, копыта, хвост. Ну, что вы мне голову морочите, я же при исполнении – приезжайте, сами увидите! Да, гуд бай».

Капитан бросил трубку и тяжело вздохнул. Потом обратился в сторону «обезьянника»:

- Ну, смотри, сука, если ты не из Новой Гвинеи – сгною!

Человек из посольства приехал через полчаса, представился вторым секретарем посольства Новой Зеландии. Это был благообразный господин средних лет, чем-то напоминавший актера Грегори Пека, с квадратным подбородком и пробивавшейся седью в волосах.

Он подошел к кабинке дежурного и о чем-то говорил с ним минут пять. Потом повернулся к клетке для задержанных, нацепил очки и, наклонив голову вбок, долго разглядывал Тома Лэмба сквозь решетку. Потом он неуверенно спросил:

- Do you speak English?
- Surely I do!\* – воскликнул Том.

Чиновник отпрянул назад. Потом одернул полы пиджака и обернулся к капитану:

- Мы можем говорить наедине?
- Пожалуйста, у нас есть отличная камера для переговоров.

Автоматчик открыл дверь клетки, и Том последовал в камеру. Он старался идти аккуратно и не греметь копытами, чтобы произвести благоприятное впечатление на соотечественника своими манерами, и очень расстроился, когда слегка споткнулся на пороге камеры. «Еще подумает, что я пьян!» – ужаснулся он. Последний раз он так тщательно следил за своими движениями, когда поки-

\* – Вы говорите по-английски?  
– Конечно, говорю!

дал с женой party, посвященный окончанию финансового года Мясного союза.

Секретарь посольства присел на нарах, Том прилег на полу камеры, деликатно поджав под себя копыта. Дипломат некоторое время теребил себя за ухо, явно не зная, с чего начать разговор. Потом спросил:

– Is it your first visit to Russia? How do you like Moscow?\*

Том мотнул головой и пожал плечами, то есть попытался изобразить пожатие плечами. На самом деле, его переполняли эмоции.

Чиновник еще помолчал. Потом спросил:

– Who are you?

– My name’s Tom Lamb, I’m executive officer of the New Zealand Meat Union.

– Excuse me, what does it mean – lamb? Is it the last name, nickname or...

– It’s my real name – Thomas Lamb!

– Hmm... Please, don’t get me wrong, but... For the Meat Union functioner... your appearance looks rather... alternative.

– Why? Oh, yea... I understand what you mean. But I want to ensure you I was a real man just one hour before... hmmm... I mean I was a real human being one hour before\*\*.

Чиновник задумался. Потом спросил:

– Are you sure?

– Yes. You can check me in the New Zealand Meat Union, everybody knows me... 0-oh, please don’t do it!\*\*\*

Том вдруг представил себе этот запрос посольства в Окленд: «Действительно ли меринос Том Лэмб, весом 70 кг и 90 см в холке, светло-серой масти, на вид восьмилеток – является ответственным менеджером вашей организации?»

– So what happened?

– I don’t know. I think it’s about of inappropriate behavior of my business partners.

\* – Вы в первый раз в России? Как вам понравилась Москва?

\*\* – Кто вы?

– Меня зовут Том Лэмб, я исполнительный менеджер Мясного союза Новой Зеландии

– Простите, что значит – лэмб? (англ. lamb – «барашек, ягненок»). Это фамилия, кличка или...

– Это мое настоящее имя – Томас Лэмб!

– Хм... Пожалуйста, не поймите меня неверно, но... Для чиновника Мясного союза вы выглядите несколько... альтернативно.

– Почему? А, да, понимаю... Но хочу вас заверить, что еще час назад я был настоящим мужчиной... э-э-э... Я имею в виду, что я был настоящим человеком всего час назад.

\*\*\* – Вы уверены?

– Да. Можете проверить меня в Мясном союзе Новой Зеландии, меня все знают... 0-о, пожалуйста, не делайте этого!

– But why did you choose such a strange image?  
– I didn’t choose my image! I’m sure even in Russia it’s an illegal practice to transform a man into a ram. And I want you to help me to transform me back into a man.

– Hmm... You have to admit it’s an unusual situation. Do you have an ID?

– Are you kidding? Have you ever seen a ram with an ID?

– A minute before you told me you’re a man. Well... May be you have any tally or brand on your body?  
– You jeer at me?!

– Sorry. You’ve just admitted you’re a ram. O’okay. Don’t be nervous. We’re just exploring the situation.

– You can check my flight, my name’s on the list.

– Well... It’s not a deal. Let’s imagine – you could look through the list of passengers, pick up the certain name and certain information and... I’m sorry but our country faces the problem of illegal immigration and...

– How can a ram look through the passenger’s list?!

– But... you told you’re a man...\*\*\*\* – Секретарь вяло развел руками.

Обоим стало ясно, что разговор заходит в тупик.

– Please, could you bring me to the embassy and do the proper measures on transforming me into a proper creature?

– Hmm... I’m afraid we have no proper facilities for sheep and we have no proper food for sheep...

\*\*\*\* — Так что произошло?

– Я не знаю. Думаю, это связано с неприемлемым поведением моих деловых партнеров.

– Но почему вы выбрали такой странный образ?

– Я не выбирал никакой образ! Я уверен, что даже в России это противозаконная практика – превращать человека в барана! И я хочу, чтобы вы помогли мне превратиться обратно в человека.

– Мм... Согласитесь, это необычная ситуация. У вас есть удостоверение личности?

– Вы смеетесь? Где вы видели барана с удостоверением личности?

– Минуту назад вы сказали, что вы человек. Ладно... Может, какая-то бирка или клеймо на теле?

– Вы издеваетесь?

– Извините. Вы только что согласились, что вы баран. O’кей. Не нервничайте. Мы просто изучаем ситуацию.

– Вы можете проверить мой рейс, мое имя есть в списке пассажиров.

– Мм... Не годится. Только представьте – вы могли бы просмотреть список пассажиров, выбрать определенное имя, определенную информацию, и... Вы извините, но наша страна сталкивается с проблемой нелегальной иммиграции и...

– Как баран может просмотреть список пассажиров?!

– Ну... Вы же сказали, что вы человек...

What's your address in New Zealand?\*

Том назвал свой адрес в Окленде.

- Do you have family? Kids?
- Yea, my daughter graduates from the college this year.
- Is she a lamb as well? Or is she a human being?
- Of course she is Lamb! Shit... Of course she is a human being! Her name is Dorothy Lamb, sir.
- Please, the telephone number of the college\*\*.

В этот момент Тому пришло в голову, что вопросы секретаря выходят за рамки дозволенного. Он предположил, что будет, когда в школе его дочери узнают, что ее папа находится в качестве барана в полицейском участке в России. Ее заключают. Да и жена, скорее всего, не одобрит его перевоплощения. Она вообще довольно консервативна в своих взглядах.

- Forget it. It's too much.
- Why?
- I won't tell you anything more.
- Look. You've demonstrated the risky performance in the hotel. In fact, you've scored the criminal record in this country.
- Fuck this country!
- Look. You're in trouble. You need my help – I need your cooperation.
- Fuck you!
- I'm sorry. I have to call the Ministry of Foreign Affairs and Trade. Please wait for the decision.
- Fuck the Ministry!
- Well... Can you get into contact with your Russian business partners? Let them take care of you. And give me a call tomorrow\*\*\*.

\* – Вы не могли бы отвезти меня в посольство и принять соответствующие меры по превращению меня в соответствующее существо?

– Э-э-э... Боюсь, у нас нет соответствующих условий для овец и у нас нет соответствующей еды для овец... Ваш адрес в Новой Зеландии?

\*\* – У вас есть семья? Дети?

– Да, моя дочь заканчивает колледж в этом году.

– Она тоже овца? Или она человек?

– Конечно, ее фамилия Лэмб! Черт... Конечно, она человек! Ее зовут Дороти Лэмб, сэр.

– Телефон колледжа, пожалуйста.

\*\*\* – Все, забудьте. Это уж слишком.

– Послушайте, вы очень рискованно выступили в отеле.

Фактически вы заработали криминальный послужной список в этой стране.

– В жопу эту страну!

– Послушайте. Вы в беде. Вам нужна моя помощь – мне нужно ваше содействие.

– В жопу вас!

– Прошу прощения. Мне нужно позвонить в Министерство иностранных дел и торговли. Дождитесь решения, пожалуйста.

– В жопу министерство!

– Так... Вы можете связаться с вашими российскими партнерами? Пусть они о вас позаботятся. А вы мне завтра позвоните.

Когда Том Лэмб вернулся в клетку, там сидел еще один задержанный, по виду кавказец. У него было сильно разбито лицо.

– Ну что, иностранец, не признали тебя? – крикнул из своей кабинки капитан. – Ладно, отправим тебя на мясокомбинат.

Том похолодел: на завтра у него назначена встреча на мясокомбинате! А сегодня его ждут на ужине... И, кстати, вполне может получиться так, что его новые партнеры получат на ужин именно его, Тома Лэмба, шипящего, на вертеле, с картофелем и зеленью, с кетчупом... А потом будут удивляться, куда это запропастился этот новозеландец и кто же будет с ними подписывать контракт.

– Оффисер, ви надо позвонить мой русский бизнес-партнер! Они точно будет башлять. Ви находить их по справочник.

Сосед-кавказец ткнул Тома в бок.

– А ты, в натуре, и по-английски шпыхаешь?

Том брезгливо отодвинулся.

Коля оказался самым чувствительным из всех русских, каких видел Том. Когда его подвели к клетке, он сказал:

– Но это же не он! Тот был блондин с короткой стрижкой, а этот туркмен какой-то... И потом, почему у него разбито лицо? Что вы с ним сделали?

Капитан сказал:

– Ты на кого смотришь? Ты на барана смотри. Узнаешь своего делового партнера?

Том решил помочь.

– Хай, Коля. Это я, Том. Я сильно изменился.

Коля уставился на барана. Потом упал в обморок. Когда пришел в себя, достал телефон и стал сбивчиво объяснять ситуацию кому-то из руководства. Рассказал все как есть: про то, что их новый деловой партнер оказался настоящим бараном, хотя еще в аэропорту не давал даже повода заподозрить такое, и не просто бараном, а бараном-нарушителем, который устроил дебош в отеле и теперь сидит в кутузке, и за него требуют выкуп. Все это ему пришлось повторить несколько раз, многократно заверив собеседника, что он не пил сегодня и не сошел с ума.

Под конец разговора он поднес телефон к морде Тома, и Том лично подтвердил, что как ни грустно, но все сказанное действительно является правдой. Он также счел нужным добавить, что все вышеизложенное произошло без его, Тома, умысла, а стало следствием недобросовестной конкуренции и неправомерных действий старого делового партнера.

Рассказал все как есть: про то, что их новый деловой партнер оказался настоящим бараном, хотя еще в аэропорту не давал даже повода заподозрить такое, и не просто бараном, а бараном-нарушителем.

Закончив разговор, Коля обернулся к Тому и улыбнулся вымученной улыбкой.

- Все в порядке, мистер Лэмб. Сейчас мы едем в наш офис, только уладим некоторые формальности. Простите, что бросили вас на произвол судьбы. Все, что произошло, – наша вина. Но мы все исправим. Очень не хотелось бы, чтобы у вас создалось превратное представление о нашей стране и, в частности, о нашей компании. Вы, наверное, проголодались? Сейчас подадут лимузин.
- Поставки CIF в порт Санкт-Петербург в течении два месяца от подписаны контракт, – устало излагал мистер Лэмб своим собеседникам. – Оплата в соответствии наш прайс-лист на аккредитив с отсрочкой платежа 60 дней.
- Я так понимаю, мясо глубокой заморозки? Что с охлажденкой? – спросил генеральный директор Руслан (он сразу предложил Тому называть его запросто Рус).
- Охлажденка вам невыгоден, очень дорого будет, потому что самолет, и потом российски квоты слишком маленьки на охлажденка, – ответил Том. – У нас замороченный... э-э-э... замороженный мясо высочайшего качества, потому что первое – экологически чистое питание и второе – новейшие технологии откорм, забой, хранения и доставка. Для нас важен поддержаний объем сэйлс. Если есть сэйлс – ноу проблем, ви остаетесь дистрибьютор.
- Устраивает. Объемы гарантирую. Ну, что ж, господа, по рукам? – сказал Рус и занес руку, но тут

же смущенно поболтал ею в воздухе и сам пожал ее своей другой рукой.

Торжественный ужин в ресторане пришлось заменить на скромный перекус в кабинете гендиректора. Мистеру Лэмбу удалось прожевать лишь бутерброд с черной икрой, от которого его чуть не стошнило. От шампанского он отказался.

Новые партнеры с пониманием отнеслись к той непростой ситуации, в которой очутился Том. Когда всем стало ясно, что это не розыгрыш и перед ними отнюдь не дрессированный баран из цирка, а самый настоящий новозеландский партнер по бизнесу, руководство компании без тени юмора отреагировало на эту новость. «Я хорошо знаю Виталия и его компанию. Он недобросовестный бизнесмен, и от его людей можно ожидать чего угодно», – мрачно проговорил Руслан.

Уладив принципиальные вопросы по организации поставок, решили приступить к разрешению проблемы с его, Тома Лэмба, превращением. Для этого гендиректор созвал экстренное совещание с участием юриста, начальника службы безопасности, а также Коли, который оказался директором по маркетингу и пиару.

Том с удовлетворением отметил, что его новые партнеры производят впечатление энергичных и весьма эффективных менеджеров, проявивших способность к анализу, принятию грамотных решений в сложной ситуации и работе под прессингом.

Для начала Руслан предложил всем присутствующим высказаться. Первым слово взял Коля. Он расчленил проблему на две составляющие – имиджевую и функциональную.

- С точки зрения имиджа – как для нашей, так и для вашей организации – мы способны минимизировать ущерб, – сказал он, обращаясь к Тому. – Поскольку мясокомбинат, который мы поедем завтра смотреть, с недавних пор является нашим аффилированным предприятием, то можно быть уверенными, что информация о вашем превращении не выйдет за пределы нашей компании. Конечно, в любом случае просочатся слухи о том, что наш партнер, так сказать, якобы... баран, но мы всегда сможем объяснить это тем, что вы – то есть вы в вашем нынешнем обличье – всего лишь образец новозеландской продукции. Поэтому завтра предстоит заготовить два соответствующих пресс-релиза – один для СМИ и деловых партнеров, другой – для собственного персонала. Вторая часть проблемы существенно сложнее, – продолжал Коля, – и требует принятия неотложных мер. Необходимо в кратчайшие сроки совершить

- превращение мистера Лэмба обратно в его прежнее состояние, с тем чтобы стало возможным подписание контракта в намеченный срок.
- Я готов подписывать контракт хоть сейчас, – взял слово Том.
  - Да, но у вас нету пальцев, – заметил Коля. Все задумались. Гендиректор спросил:
  - Возможно ли подписание контракта другим человеком со слов нашего новозеландского друга? Скажем, по нотариально заверенной доверенности? Что об этом думает наш юрист?
- Юрист Евгений задумчиво покачал головой.
- В этом случае опять же должна быть его подпись на доверенности. Хотя если вы привезли с собой доверенность на право подписания контракта, можно попробовать заверить контракт подписью другого лица с приложением копии вашей доверенности. Скажем, ввиду вашей временной недееспособности. Но, опять же, необходимо тщательно исследовать вопрос, может ли третье лицо потребовать в судебном порядке признания такого контракта ничтожным на том основании, что лицо, с чьих слов контракт был подписан, является бараном... Боюсь, что данная ситуация недостаточно четко прописана в Гражданском кодексе.
  - Господа, в любом случае необходимо в максимально сжатые сроки принять меры к контрпревращению, – произнес Руслан. – Николай, займитесь этой проблемой в тесном контакте со службой безопасности. Даю вам сутки. У вас есть полномочия привлекать к задаче любые необходимые службы компании.
- Коля выхватил мобильный телефон.
- Леночка. Срочно вызвать на работу группу программистов. Срочно в офис весь департамент маркетинга. Да, в полном составе! Срочно... терапевта с диагностическим оборудованием. Да-да, терапевта! Плюс... ветеринара. Терапевту провести диагностическое обследование пациента. В том смысле, чтобы выяснил, в какой степени пациент является человеком, и в какой степени... мм, животным. Не важно каким, твое дело записывать. Если пациент окажется в большей степени бараном, то ветеринару установить какой породы, ну, и там на наличие инфекций... Так. Программистам скачать все базы данных о магах, колдунах, ведьмаках, жрецах Вуду и прочих экстрасенсах. Моим людям пропылесосить все маркетинговые исследования по рынку оккультных услуг. Срок – до утра! В 10:00 жду отчет объемом две печатные страницы. Вперед!

Том Лэмб, хотя и придерживался всегда принципов социальной толерантности, однако сейчас порадовался, что в российских частных компаниях на дух нет никаких профсоюзов.

- Теперь о ваших людях, Александр Иванович, – обратился гендиректор Руслан к начальнику службы безопасности. – На вас ложится самая трудная работа. Я имею в виду взаимодействие с правоохранительными органами.
- Руслан Раимкулович, сразу хочу предостеречь от любых контактов с силовыми органами и особенно со спецслужбами. Милиция не поможет нам точно, только будут совать свой нос куда не следует. Что касается ФСБ... В бытность мою сотрудником этой организации мне приходилось слышать об исследованиях в области превращения людей в баранов. И не сомневаюсь, что в соответствующем отделе сохранились вполне продвинутые наработки в этой области. Однако я подозреваю, что лучшие специалисты по этой теме давно перешли в коммерческие структуры. А главное, попади хоть малейшая информация о данном происшествии к сотрудникам спецслужб, они не преминут ее использовать для шантажа нашего клиента. Скажем, в целях вербовки. В этом же смысле, мистер Лэмб, я хочу предостеречь вас от дальнейших контактов с представителями вашего посольства. Я предполагаю, что секретарь посольства, с которым вы встречались, работает в тесном контакте со спецслужбами вашей страны. И, возможно, даже успел сделать ваши фотографии скрытой камерой. Это может иметь негативные последствия для вашей карьеры и репутации.
- Постойте, Александр Иванович, – прервал его Руслан. – Мне кажется, вы преувеличиваете. Когда наш друг придет в свое обычное состояние, никто не сможет установить его сходства с... скажем так, с бараном.
- Мм. Вы недооцениваете спецслужбы. Есть специалисты, способные установить даже внешнее сходство, скажем, по линии рта, надбровным дугам, расположению ушей, разлету ноздрей и тому подобным характеристикам. Если подробный анализ появится в нашей или, того хуже, в новозеландской прессе, нашему другу не позавидуешь. Кроме того, не забывайте про генетический анализ. Если сотрудник посольства успел подобрать фрагмент шерсти нашего уважаемого партнера, то в дальнейшем мистера Лэмба может ожидать унижительная процедура сдачи генети-

ческого анализа. Хуже всего то, что в результате всех этих действий нашему другу так никогда и не удастся убедительно доказать, кто он на самом деле – человек или баран.

- Что вы предлагаете?
- Самый эффективный способ, на мой взгляд, – выйти на контакт с тем проходимцем, который совершил превращение, и вынудить его совершить контрпревращение. Правда, это потребует сложной и весьма рискованной спецоперации. У нас есть для этого свои методы, и я могу выйти на соответствующих людей. Однако это потребует определенного финансирования. Если вы готовы к затратам, я начну принимать необходимые меры уже сегодня ночью.
- Руслан задумался.
- С трудом представляю себе спецоперацию против человека, владеющего методами магии. Вы не боитесь, что в результате такой спецоперации мы получим целое стадо баранов?
- Как я уже сказал, риск есть. Но в принципе, и не с такими справлялись. Остается лишь взвесить степень риска, соотнести ее с реальной необходимостью и принять решение. Успех гарантирован в том случае, если удастся заставить объект врасплох. Скажем, оглушить и обездвижить. Еще лучше взять в заложники родственников. Посулить вознаграждение, наконец...
- Что-нибудь известно об этом долбаном фокуснике?

Александр Иванович достал из кармана пиджака стопку фотографий.

- Валентин Вислопузов, 36 лет, ветеран афганской кампании. Провел два года в плену. За это время овладел приемами восточной магии, еврейской каббалы, а также аэробикой по телекурсам Джейн Фонды. IQ на уровне имбецила. Разведен. По возвращении из плена работал наемным убийцей, в настоящее время – директор по корпоративному развитию компании-конкурента. Крайне опасен.

Руслан Раимкулович сцепил ладони и опустил на них подбородок.

- Приступайте к спецоперации, Александр Иванович. Только действуйте наверняка.

Утром Том Лэмб элегантно выпрыгнул из лимузина и огляделся. Он уже освоился с движениями и не чувствовал дискомфорта, когда забирался или выбирался из машины.

На ступенях центральной проходной ждала целая делегация. Первой подскочила девушка в ко-

кошнике, она принесла хлеб-соль. Персонал, видимо, уже подготовили, потому что девушка с очень серьезным, хотя и пунцовым от смущения лицом поклонилась ему и сделала отмашку рукой. Лишь когда уходила, Том увидел, как она прыснула в кулачок.

Потом к нему подошел высокий толстый мужчина, с таким же красным лицом, как у той девушки, и, держа руки по швам, представился:

- Директор комбината Иван Георгиевич Шаблин. Добро пожаловать на наше предприятие. Очень, очень рады вас видеть.

Том в сопровождении Руслана, Коли и еще двух представителей компании проследовал на мясокомбинат. Прошли административный корпус, затем через заводской двор в убойный цех.

- Вот, прошу любить и жаловать, убойный цех, – обвел рукой Иван Георгиевич. – Технологии, конечно, немного староваты. Вы-то, разумеется, видели и посовременнее... Извините, мы вчера, готовясь к вашему приезду, тут хорошенько прибрались, но, сами понимаете, специфика производства...

Директор комбината попытался стереть подошвой засохшее пятно крови почти перед самой мордой Тома.

Перед ними вдоль стены проплывали подвешенные за ноги к движущейся цепи бараны, оглушенные электрошоком. Примерно в середине пути их поджидала женщина в окровавленном фартуке и резиновых перчатках, которая длинным острым ножом протыкала горло каждому барану. Из горла бурно начинала хлестать кровь, которая стекала по желобу где-то в дальнем конце помещения. В какой-то момент Том краем глаза заметил шевеление в той стороне и увидел, как еще одна немолодая женщина подошла к желобу с расписной чашечкой, набрала из-под слива свежую кровь и принялась пить.

- Через час должны подвезти партию коров, – продолжил экскурсию Иван Георгиевич. – Мы ведь в основном работаем с говядиной. Процентом примерно семьдесят пять от общего объема, остальное приходится на свинину... Баранины, к сожалению, получаем очень мало. Но мы будем эту ситуацию исправлять. Планируем рост по субпродуктам – почки, печень, язык, сердце, уши, семенники... Ну, я дам вам позже подробные цифры и данные, какие захотите узнать. Наша компания открытая, прозрачная. Надеемся, – он повернулся с улыбкой к Руслану, – на новых современных собственников и менеджеров.

Они перешли в другой цех. Здесь тех же самых баранов ошкуривали прямо на весу и затем в освеще-

жеванном виде подавали в следующий цех. Несколько мужчин привычными движениями располосовывали туши в определенных местах в самом начале конвейера, так что к середине пути баран как бы выпрастывался из своей шкуры, словно младенец из пеленки, – баран отдельно, шкура волочилась отдельно, только лишь зацепившись за морду. Там, в середине конвейера, стоял еще один работник, который небрежным рывком сдирал шкуру с морды и сбрасывал ее вниз, в специальную шахту.

– Тут у нас тоже есть проблемы, с которыми необходимо работать, – заметил Иван Георгиевич. – Производство шкур крайне нерентабельно. Как и все вторсырье вообще. Технологии утилизации вторсырья пока у нас слабые, спрос невелик. А со шкурами вся проблема в выделке, как с коровьими, так и с бараньими – взаимодействие с кожевенными производствами оставляет желать лучшего, наши шкуры приходят туда часто порченными, поеденными мухами... Сейчас спустимся в шкурный цех.

Они стояли в самом конце конвейера, и освеженные туши двигались в их сторону. И тут один ошкуренный баран, до этого покорно висевший, как и его собратья, вниз головой, вдруг конвульсивно дернулся, уставился на Тома своей окровавленной мордой и словно бы удивленно шевельнул глазом. Тому показалось, что баран пытался ему подмигнуть.

Баран проплывал мимо Тома, мучительно изгибая голову в его сторону по мере удаления, словно больной церебральным параличом, и Том мог тщательно рассмотреть его тонкие красные мышцы на ребрах и костях конечностей, из которых сочилась кровь, синеватые широкие связки и желтоватые сухожилия. Возле выхода в соседний цех конвейер резко дернул и с шумом вышвырнул любопытного барана наружу сквозь широкие ленты резиновой занавески. Том знал, как долго может оставаться живой уже освежеванная и плохо оглушенная скотина, но этот обмен взглядами произвел на него гнетущее впечатление.

В шкурный цех пришлось спускаться по узкой и крутой металлической лестнице, поэтому Руслан и Иван Георгиевич были вынуждены поддерживать Тома за холку, поминутно принося любезные извинения за фамильярность. В момент, когда директор Шаблин рассказывал о том, что они делают со шкурами и как намерены улучшить технологии выделки, сверху через прямоугольную трубу прямо рядом с Томом с грохотом свалилась тяжелая шкура, и Том от неожиданности метнулся в сторону, чуть не сбив, как кегли, всю делегацию. Теперь уже ему пришлось

извиняться, а хозяевам – его успокаивать. Вернувшись наверх, он заставил себя пригубить шампанское в знак всеобщей дружбы и сотрудничества, после чего почувствовал себя плохо. Сильно хотелось сена или хотя бы морковки.

Пытаясь не выдать расстройства желудка, Том согласился на экскурсию по городу в сопровождении профессионального экскурсовода. Подъехал огромный Chevrolet Tahoe с бугельной решеткой, и Руслан пригласил Тома: «Присаживайтесь в джип». Том еще с прошлого визита знал, что русские почему-то очень уважают фермерские грузовички, гораздо больше, чем дорогие мерседесы, да еще специально навешивают на передок жесткий бампер из труб, который в австралийских саваннах используют для защиты от перебегающих дорогу кенгуру. Забавно, что эти *roo bars* здесь так и называют в буквальном переводе – «кенгурятники». Таким образом, сделал вывод Том, по рабочим делам тут ездят в лимузине, а вот выезжать в свет принято на более престижных внедорожниках.

Том разместился на просторном заднем сиденье диване между Русланом и Иваном Георгиевичем, а рядом с водителем сидел гид и рассказывал о проносившихся мимо районах и памятниках архитектуры. С особым трепетом и вниманием была исследована Остоженка и примыкающие улицы «золотой мили». Но сильнее достопримечательностей Тома поразила сама поездка, вернее, езда. Водитель по имени Серега (так к нему обращался Руслан) был, похоже, бывалый малый и к тому же очень смелый. Он решительно обгонял пробки по встречной полосе, прижимая к обочине мчавшиеся навстречу автомобили, пролетал на красный свет, но больше всего Том испугался, когда Серега остановился, поджидая догонявший их и отчаянно сигналивший другой такой же джип. Тот подъехал впритирку, на пассажирской двери опустилось стекло, и пассажир с лицом кинозлодея стал что-то говорить, лениво и презрительно растягивая слова, – и в этот момент Серега так же лениво достал откуда-то из-под сиденья автомат со складным прикладом и приставил прямо ко лбу злодею: «Вопросы?» Пассажир опешил, помолчал, потом уважительно покачал головой и поднял стекло.

Том заподозрил, что водитель их автомобиля совершил нечто не совсем законное, и задумался, не попадет ли он в историю с такими спутниками, если вдруг обиженные пассажиры джипа захотят пожаловаться местным полисменам и те остановят их машину для проверки. И тогда вдобавок к дебошу в отеле барана из далекой Новой Зеландии

смогут привлечь еще и по более тяжелой статье, вроде бандитизма, или разбоя, или участия в организованной преступной группе, да еще с хранением и применением огнестрельного оружия. И тогда ему точно будет очень сложно объясняться с сотрудниками посольства и уж тем более с руководством Мясного союза, которым придет бумага, да еще с его фото, сделанным в полицейском участке в профиль и анфас... С рогами! Oh, my God!..

Но он несколько успокоился, когда на одном из перекрестков Серегу попытались остановить полисмены, а он только включил какую-то противную сирену и со смехом направил машину прямо на них, заставив броситься врассыпную. «Видимо, он имеет на это законное право», – подумал Том. It's Russia, baby! И ощутил какое-то благоговение оттого, что находится в машине с такими уверенными и сильными людьми.

Руслан словно прочитал его мысли и снисходительно усмехнулся:

– Серега вообще-то в органах работает, не переживайте...

В Кремль их, правда, не пустили. На Красной площади, пока смотрели смену караула у Мавзолея, дважды подходили милиционеры и требовали «увести животное». Том скромно помалкивал, а его сопровождающие любезно обещали скоро уйти и незаметно подсовывали им стодолларовые купюры. Вернулись на большую улицу, где был припаркован на тротуаре их «автобус». Экскурсовод, тоже сильно перепуганный лихой ездой Сереги, вновь подал слабый голос, предлагая полюбоваться на Большой театр, на отель «Метрополь» справа и на гастроном «Седьмой континент» слева от них. Руслан снисходительно заметил: «Ну, нашего гостя супермаркетами не удивишь, у вас ведь, наверное, есть не хуже, верно, мистер Лэмб?», на что Том неопределенно мотнул головой. А Иван Георгиевич вдруг засопел и сказал: «Честно говоря, очень не люблю я этот магазин. Козлы они там какие-то...»

– А че так? – спросил Руслан.

– Да... – Иван Георгиевич обиженно помялся. – Они мою жену туда не пустили. Не прошла фейс-контроль или дресс-код, не знаю, как там у них называется...

Руслан сокрушенно покачал головой, а Серега сочувственно поддержал:

– Вот суки, а! Но охрана у них и правда отморозенная. То ли подольские, то ли солнцевские...

И в этот момент Том уловил пьянящий, манящий, волнующий запах. Он покрутил головой и увидел диковинную картину: в их сторону, смешно семе-

ня ногами, бежала пожилая женщина, обнимавшая ведро с цветами, обмотанными бумагой от холода, а за ней быстрым шагом направлялись двое молодых полицейских. Тело Тома охватила дрожь, и он вскричал: «Рус, что это?!» Тот оглянулся и небрежно бросил: «А, менты бабок гоняют, сейчас цветы отберут. Оболтусы, лучше бы бандитов ловили». Том чувствовал стыд и волнение, но терпению его наступил предел: «А можно.. Э-э, очень нужно.. купить эти цветы». Спутники озадаченно уставились на него. Первым отреагировал Серега: «Раз нужно, значит – сделаем!» – и решительно направился к женщине с цветами, доставая деньги из кармана. Сунул пригоршню денег ей в карман пальто и забрал ведро с цветами. А когда полисмены его догнали с возмущенными криками, также осчастливил их деньгами. Едва он поставил ведро перед Томом, тот ринулся вперед и моментально сожрал цветы вместе с бумагой. Понимая, как дико и отвратительно он выглядит.

– Мать честная, проголодался-то как, бедненький! – запричитала ошалевшая женщина.

– Во дает, – сказал один милиционер. – А где разрешение на животное? Кто хозяин?

– Ты иди давай, – ответил Серега. – Иди к своему хозяину.

«Да, этот эпизод сильно роняет мою деловую репутацию, – думал Том Лэмб, пока Рус пытался аккуратно вытащить у него из пасти кусок трепыхавшейся на ветру бумаги. – Да и плевать! Они еще и какашки будут за мной собирать, лишь бы контракт подписать». Первый раз в Москве он испытал настоящее блаженство. И чувство некоторой сытости от истинно вкусной еды.

От посещения Парка Победы и Воробьевых гор решили воздержаться. Вернулись в офис компании. Руслан с Иваном Георгиевичем проводили Тома в подвал, где оказалась комната с роскошной обстановкой – кожаные кресла и диван, ковры на полу и стенах, накрытый стол в духе Людовика XIV, плазменный телевизор на стене и дорогая аудиосистема. Душный и ароматный запах дерева подтвердили опасение Тома – это была сауна. Ему предложили устраиваться, расслабиться и пообещали, что «скоро ему составят компанию».

Как только Том остался один, его сразу стало клонить в сон. Поначалу он прислонился к дивану и стал дремать стоя. Потом поджал передние ноги под себя и уснул в положении ничком. А потом, наплевав на приличия, повалился набок на ковер, вытянув ноги полностью.

- Проснулся он от звонкого веселого возгласа:
- Ой! А кто это у нас такой сла-аденький? Кто такой пушистенький-мохна-астенький?
  - Том тревожно приоткрыл глаза и увидел нечто в перьях и бусах, с длинными голыми ногами.
  - Скучаешь, малыш? Не против, если составлю компанию?
  - Том неловко перевернулся на живот, подобрал под себя копыта.
  - Здравствуйте... Присаживайтесь... Извините, что я лежу, – пробормотал он.
  - Ничего, если я рядышком присяду? – сказала девушка и уселась рядом на ковер, вытянув ноги и прислонившись спиной к дивану. – А ты симпатичный... Давно в Москве?
  - Том помотал головой.
  - Мне сказали, что ты умеешь разговаривать, – игриво сказала девушка. – И что ты – важная шишка из заграницы!
  - Том грустно кивнул.
  - Надо же, как здорово. У меня никогда еще не было... Ну, то есть я никогда еще не общалась до этого с... э-э-э... с такими собеседниками!
  - Да... повезло... вам, – пробормотал Том, стараясь быть учтивым.
  - А ты в цирке работаешь?
  - Нэуп, – помотал головой Том.
  - Девушка заглянула ему в глаза в надежде на продолжение, но не дождалась подробностей, и в воздухе повисла неловкая пауза.
  - Меня зовут Злата! Правда, красивое имя? Видишь, у меня и волосы золотистые... А тебя как зовут?
  - Май нейм'с Том.
  - Том? Хорошее имя. Как Том Круз. Тебе нравится Том Круз? Я обожаю! Ты видел его в «Широко закрытых глазах»? А я тебе нравлюсь?
  - Да, конечно, – ответил Том, отводя глаза в сторону от ее аппетитных ножек, протянувшихся у него перед носом.
  - И ты мне. Ты мой медвежонок! – Она несмело провела рукой по его голове между рогами, потом обратно, прикоснувшись мизинцем к его рогу.
  - Ноу, я не медвежонок, ай'м баран. Но это не всегда было так...
  - Хочешь поговорить об этом?
  - Нэуп.
  - Помолчали, потом девушка вновь попыталась наладить беседу.
  - Ты грустишь оттого, что ты баран? – Она убедительно выкатила глаза. – Не смей об этом сожалеть! Будь самим собой! Нужно верить в себя! Если ты баран, то и гордись этим! Я так считаю. А если

## Первый раз в Москве он испытал настоящее блаженство. И чувство некоторой сытости от истинно вкусной еды.

- ты даже и баран – но в душе ты, может, медведь! Или даже лев! И не обращай внимание на дураков, которые считают, что ты баран! И я тебе так скажу, между нами – многие люди хуже, чем бараны... Уж поверь мне, я знаю, что говорю. Я опытная.
- Том промолчал.
- Она приподняла его морду и подвинулась так, что он уткнулся носом в ее бедро. Она обхватила пальчиками его рога и нежно стала водить обеими руками. Он закрыл глаза.
- Ты можешь делать со мной все, что захочешь... Забодай меня...
- Том чувствовал нестерпимый стыд, ему даже показалось, что он покраснел, как рак, от неловкости ситуации.
- Форри, – пробубнил он, задыхаясь от того, что губы и нос были прижаты к ее упругому бедру. – Но я не могу... Я не свободен... Если ты понимаешь, что я имею в виду.
- Она озадаченно помолчала, потом спросила ласково:
- У тебя есть овечка?
- Э-э-э... Да, я женат.
- И ягнятки есть?
- Том кивнул.
- Какая прелесть! Ягнятки такие милые!
- Видишь ли, – сказал Том, не зная, как лучше объяснить. – Моя жена и моя дочка – они не овечки, они люди...
- А-а, – понимающим тоном сказала Злата. – Но вот видишь, она же тебя полюбила... Значит, нашла в тебе что-то... особенное, – и добавила игриво: – И я ее понимаю!
- Она потрепала Тома за холку и прижалась щекой к его морде. Потом задумалась.
- А... погоди. А дочка – овечка или?..
- Нет-нет!
- Метиска? Ну, то есть смешанная?
- Нет! Нет!

- А как зовут твою дочку?
- Долли, – ответил Том и с ужасом осознал, как глупо звучат его ответы.
- А... вот как... Долли. Так ведь Долли я знаю, – задумчиво сказала Злата. – Но ведь Долли – овечка?
- Нет-нет, Долли мы ее в шутку зовем, – в отчаянии сказал Том, после чего понял, что нужно рассказать всю правду с самого начала, иначе он выглядит лжецом, причем очень неубедительным, а для него это было самое невыносимое в жизни – даже просто допустить саму возможность, что кто-то сможет усомниться в его честности.
- Послушай, я расскажу тебе с начала. Я прилетать в Москву по бизнес. Делять поставки баранины из Нови Зиланди. С моей родины...
- Так ты из Новой Зеландии? Ух ты, здорово! Я видела в школе на карте, это в Австралии?
- Не очень близко, но почти.
- Так вот оно что! Верно! В Новой Зеландии овец разводят, я знаю. Но... я не знала, что они еще и разговаривают. Наверное, поэтому ваша баранина стоит так дорого. То-то я смотрю, у тебя такой акцент сильно выраженный...
- Ноу, ноу, они не разговаривают...
- Но, знаешь, – сказала она вдумчиво, – вообще это очень хорошо и правильно, что интересы овец... ну, то есть, что интересы ваших собратьев, э-э-э, представляет, э-э-э, сам представитель этого, э-э-э... вашего сообщества. Комьюнити – так называется? Или профсоюз – как правильно? Кто же лучше тебя знает нужды и чаяния, э-э-э... твоих коллег, правильно? – Она задумчиво нахмурила лоб. – Вот ты приехал сюда, ты знаешь, о чем и как вести переговоры, чтобы защитить интересы твоих друзей, ну, чтобы их тут не обидели. Я правильно понимаю? Ну, то есть, их тут и так не обидят, у нас люди хорошие, гостеприимные, но мало ли что, верно ведь? – Она подумала и с воодушевлением продолжила: – Ведь это же и есть представительная демократия, так ведь? Когда представитель представляет интересы! Потому что он компетентен в вопросах! А то у нас вот... У меня на работе хостес – а я в элитном клубе работаю, для джентльменов, очень богатые клиенты у нас... Так вот, эта хостес – ну овца полная! Ой, прости-прости, я хотела сказать – просто дура некомпетентная. Вечно отпускает колкости на кастинге – то у этой жопа отвислая, у другой – сиськи не такие, третьей велит храть поменьше. А сама – ну страшная вот реально! И у самой ни кожи ни рожи... Некомпет-

- тентность и непонимание полное. Нет у нас демократии пока еще, – вздохнула она. – Это ведь неправильно, согласись.
- Да, наверное, – сказал Том.
- И знаешь, я очень уважаю тебя за то, что ты помнишь о своей семье. Даже вот тут, сидя со мной в сауне, ведешь себя... корректно. А то мужики часто в командировках ведут себя как козлы. Ой, прости-прости! Не по-джентльменски, я имею в виду. Только вырвались на волю – и давай по бабам... Да еще и грубить начнут. Я их понимаю, конечно, и мне грех жаловаться, они же мне деньги платят. Но вот ты не такой.
- Э-э-э... Я скажаль, я приехать в командировку... на переговоры. И я не знаю, как это вышло...
- Слушай, а можно интимный вопрос?
- Какой?
- А тебе вот какие женщины больше нравятся? Овечки или... человеческие женщины?
- А-а... Ты не понимай...
- Ну вот я, например... Я хорошая?
- Ты хорошая.
- Правда?! Йес! – Она даже взвизгнула от радости. – Я тебе нравлюсь! И ты мне тоже! Очень. Нравиться.
- Она схватила его за рога, притянула его морду к своим губам и чмокнула в нос. Как вчерашняя девочка в лифте.
- Послушай. Поверь, не потому, что ты клиент... а по правде, по-человечески тебе говорю – ты мне очень нравишься. Ты хороший. Ты добрый. Сильный. И умный. И еще такой пушистенький, мама дорогая!.. Давай просто полежим с тобой, а? Чисто по-дружески? Мне так нравится с тобой разговаривать. Редко с кем можно так пообщаться...
- Она обвила руками его мохнатую шею, положила голову на плечо и прижалась к нему, ощущая всем телом тепло его шерсти, вдыхая запах овчины.
- Ты надолго в Москве? Если ты уедешь, я буду скучать. Если у тебя будет свободный вечер, я бы снова к тебе приехала. Для тебя это будет бесплатно. Ты не думай. Может, поучишь меня английскому, а? Я в школе учила английский, даже лучшая ученица в классе была по инглишу. Мне Сергей Сергеич, учитель наш, говорил: «Ну, ты, Машка, даешь вообще! На ходу все запоминаешь!» У нас деревня маленькая, Сергей Сергеич у нас и директор был, и математику вел, и русский, и английский... Да, меня, кстати, Маша зовут, никакая я не Злата, это так, сценический псевдоним. И вот мы даже песенку одну учили на

- английском, и там тоже про овечку, или барашка, не помню уже. Погоди, дай вспомнить... «Мэри хед э литл лэмб, литл лэмб, литл лэмб... Мэри хед э литл лэмб... Чего-то там вайт анд сноу...» Вот!
- It's fleece was white as snow, – поддержал Том. – Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
- Да-да! – обрадовалась она. – А потом там как-то грустно было, что он пошел с ней в школу, а его учитель прогнал и наругал...
- It followed her to school one day, school one day, school one day, It followed her to school one day which was against the rules, – тихо напел Том. – It made the children laugh and play...
- Laugh and play, laugh and play! – радостно закричала Маша. – It made the children laugh and play to see the lamb at school!
- И они хором продолжили:

*And so the teacher turned it out  
Turned it out, turned it out,  
And so the teacher turned it out,  
But still it lingered near.*

- Ой, как здорово, я даже еще помню это! – засмеялась Маша. – Слушай, а ты за своей женой тоже так ходил в школу? Или вы уже в институте познакомились? Нет, в институт она бы вряд ли с овечкой ходила...
- Нет, – смущенно ответил Том, – ты неправильно понимать. Я тоже был человек. Но вчера меня превратили в баран.
- Она окаменела:
- Как? Разве такое возможно?
- Она отстранилась от него.
- Что – правда?
- Правда.
- Она в ужасе смотрела на него, потом сказала:
- Но... это ведь – незаконно? Да ведь?
- Абсолютно.
- А... кто это сделал?
- Плохие люди.
- Это че-то они оборзели вконец, – задумчиво проговорила Маша.
- Она обняла его, и он почувствовал, как по его морде катятся ее слезы.
- Бедненький... И что же ты будешь делать теперь? А тебя можно расколдовать обратно?
- Можно. Говорят, что можно. Мои бизнес-партнеры сейчас ведут переговоры об это.
- Она опять стиснула его в объятиях и стала поглаживать по холке.

- А какой у тебя рост был... когда ты был человеком? – снова начала она.
- Э-э-э, примерно шесть футов.
- А когда ты обратно станешь человеком, у тебя будет такой же рост?
- Томом вдруг овладело странное беспокойство.
- М-м, возможно...
- А ты будешь такой же хорошенький? Такой же милый? Сдержанный, мужественный, уверенный в себе? Такой же добрый?
- Вот оно. Вот что его обеспокоило. Будет ли он вообще когда-нибудь таким, как прежде? Том вдруг понял, что не уверен в этом. Как неожиданно точно она задает вопросы...
- А-а-а... – вдруг выдохнула она, прикрыв рот. – А когда ты станешь снова человеком, у тебя уже не будет этого милого хвостика? И этого прекрасного меха? И этих рожек?
- Этот вопрос заставил Тома посмотреть на свое положение с другой стороны. А ведь верно: еще неизвестно, как успешно произойдет его превращение (если вообще произойдет). Он представил, как окажется в своем привычном костюме, но под брюками сзади будет выпирать хвост. А из-под воротника с галстуком – мохнатая шея и морда. С рогами. Тревога усиливалась и переходила в ожидание трагедии.
- А когда у тебя назначено превращение? Завтра?
- Это может быть. Завтра. Или не знаю...
- И опять стала нарастать тревога. Ему пришла в голову мысль, и он аж содрогнулся. Ему придется ведь снова встретиться с этим человеком! Возможно, прямо завтра... Тома обуял мистический страх. Он понял, что больше никогда в жизни не сможет оказаться рядом с человеком, который сотворил с ним такое. Как и с Виталием. Это хуже, чем прыгнуть с крыши небоскреба...
- Том вспомнил, как его взрослый ретривер Эммануэль II начал паниковать, скулить и тянуть прочь поводок, когда они проходили мимо ветклиники, где его кастрировали щенком. Это было через много лет после операции, Том был уверен, что Мэнни уже забыл это место. Но едва они вышли из машины в этом районе и подошли к перекрестку возле клиники, как собаку стало колотить крупной дрожью...
- Эй, ты что, спишь? – спросила Маша. – Хочешь, давай поспим. Я тоже сегодня не выспалась.
- Она поцеловала его в лоб меж рогами и свернулась на нем калачиком. Том непроизвольно тоже чмокнул ее губами куда-то в руку и стал проваливаться в сон...
- Вдруг раздался страшный удар. Аж пол заходил ходуном. Это где-то хлопнула тяжелая дверь. Звук

резкий и злой, как выстрел из пушки. Оба подскочили от неожиданности. И услышали, как затопали какие-то люди по лестнице за стеной и стали раздаваться отчаянные крики.

– Что это? – испуганно спросила Маша.

– Ш-ш-ш... – отозвался Том и прислушался.

За стеной грохотал топот ног и доносились панические крики. Чувство надвигающейся трагедии не подвело Тома. В какой-то момент он разобрал знакомые голоса рядом за стенкой.

– Что вы наделали! Как вы могли! Вы с ума сошли! – Это был голос Коли.

– Да пошел ты! Еще вякни мне тут, шенок! Прочь с дороги! – Это был как будто Александр Иванович, но как будто совсем другой Александр Иванович. – Он ждал нас! Понимаешь – он ждал нас, сука! Мы когда пошли на штурм, он начал косить из пулемета, мы головы поднять не могли! Ни вперед, ни назад. Пришлось кинуть гранату.

– А... А как же теперь наш гость?!

– На шашлык твой гость, вот как! Пропади ты пропадом со своим бараном! Я чуть людей не потерял, и у нас теперь о-очень большие проблемы, ты даже не представляешь какие! И все из-за этой скотины новозеландской! Он теперь улика, он – свидетель... Так что барана на кухню, а мы ложимся на дно, понял?!

Голоса удалились, и дальнейший разговор стал неразборчив, но Том все понял.

– Про что они говорят? Что за крик? – тревожно спросила Маша.

– Все кончено, – сказал Том, стараясь говорить спокойно. – Мне конец.

Ему сейчас больше всего хотелось выглядеть достойно в глазах девушки, которая наговорила ему сегодня столько комплиментов. Но от мысли, что его дни закончатся в духовке или на вертеле, причем прямо сейчас, поколачивала дрожь.

– Что значит конец? Ты чего? Что значит конец?! – заволновалась Маша.

– Тебе лучше уходить. Скорее, прямо сейчас.

«Как это будет? – думал Том. – Как это будет? Войдут, скажут с натянутыми улыбочками пару любезных слов и ударят лопатой по шее. У них нет электрошокера, как на мясокомбинате. Или просто молча прижмут рога к полу и перережут горло». Том вспомнил того освежеванного барана на мясокомбинате, который ему подмигнул, проплывая на конвейере. Потом представил рутинную работу повара на кухне. То, как он сам, Том, иногда делал дома, готовя мясо для Джейн и Дороти. Разделать, порубить кости, отделить мясо, сложить на противень...

Посолить-поперчить... По готовности – сверху петрушки, жареный картофель... Но пока начнется процесс приготовления, он, Том, будет еще живой, возможно... Разве что начнет уходить в сон от потери крови.

– Объясни, что происходит, – сказала Маша.

– Переговор не удался. Меня надо убивать, потому что я есть эвиденс. Тебе надо убежать скорее.

– Ты что, спятил? – Она выкатила глаза. – Ты дурак, что ли? Никто тебя не убивать! Я не позволю. Барашек ты мой глупенький.

Она встала и заходила по комнате.

– Тебе надо убежать, – сказал Том. – Тебя тоже будут убивать, если ты будешь здесь.

– Что-о?! – заорала она. – Я им покажу... Взяли моду тут убивать! Суки...

Ее глаза были злые, как у рыси. Она остановилась, подумала и бросилась к сумочке. Достала телефон, стала набирать.

– Я знаю запасной выход, мы сейчас выйдем. Алло! Петя! Петенька! Бегом вставай, заводи машину и мухой за мной. Да, надо забрать срочно. Запоминай адрес...

Бросив телефон в сумку, она кинулась в соседнюю комнату и через минуту вернулась одетой по-зимнему, в светлой дубленке и норковой шапке.

– Пошли скорее за мной.

– Тебе не надо рисковать, – сказал Том. – Это бесполезно. Нас все равно догонят. Если не догонят, то меня все равно найдут. Баран в Москве нельзя спрятать. И тебе будет плохо.

– Хватит ныть уже, давай бегом! – Она ухватила его за рог и потащила за собой.

Пока Том послушно лежал в заснеженном скверике под скамейкой, он больше всего молил Бога, чтобы у его бизнес-партнеров не оказалось собак. В это время Маша сидела сверху на скамейке и замерзшими руками царапала какую-то записку. Довольно скоро подъехала старая советская машина, оттуда вышел парень, коротко переговорил с Машей, потом сходил за мешковиной, завернул в нее Тома и отнес в багажник. В багажнике воняло бензином.

Минут через пятнадцать машина остановилась, багажник открылся, и к нему наклонилась Маша.

– Миленький, я так рада, что мы с тобой встретились! – сказала она, целуя в нос. – Петя ответит тебя к моим родителям и передаст от меня письмо, все будет хорошо... Потерпи немножко, ехать недалеко, к обеду уже будете. Не выходи из машины. А этим я скажу, что вернулась в час

ночи, моя соседка подтвердит, все будет о'кей... Оу-кей, хаха! А на Новый год я приеду, не забывай меня, мой сладкий!

В дороге Тома укачало, и он проспал большую часть пути. Проснулся, когда машина замедлила ход и со скрипом заковыляла по буеракам, так, что Том стучался рогами о крышку багажника. Остановились, Петя открыл багажник и спросил, не хочет ли Том выйти размяться. Том выпрыгнул из багажника и огляделся. Вокруг лежали заснеженные поля, которые рассекала уходящая вниз трасса, где-то вдалеке в утренней дымке виднелась темная шапка соснового леса. А метрах в ста от машины стояла ферма с околицей, из трубы избушки курился дым.

- Пойду куплю чего-нибудь пожрать, – сказал Петя, закуривая сигарету. – Тебе беляшей взять каких-нибудь? Или чем ты там питаешься?
- Если можно, сена, – смущенно попросил Том. – Если комбикорм, то будет тоже хорошо.
- Попить не желаешь? Воды? Молока? Водка? Пиво?
- Нет, спасибо.

Но Петя не пошел к ферме, а присел на корточки рядом с Томом. Затягивался сигаретой и явно что-то хотел спросить, но не решался. Том решил начать small talk, чтобы подбодрить своего спасителя.

- Хорошая у вас машина. Сколько цилиндров?
- Да-а... говно, а не машина, жигуль, сыпется на ходу, – зло выдохнул дым Петя.
- Мы доедем до конца?
- Доедем... наверное. Если не заглохнем где-нить...
- За нами есть погоня?
- Да хер знает. Но ты особо не высовывайся. Специально так машину поставил, чтобы тебя с трассы не видно было. А со стороны кафешки за этой березкой укройся. Тут бараны в диковинку, не надо им тебя видеть. – Петя еще затянулся сигаретой, потом отшвырнул окурочку и решительно сказал: – Ты вот что. Я не спрашиваю, от кого ты там убегаешь, что натворил, замочил кого или киданул – не мое это дело. Мне Машка сказала – мне достаточно. Но хочу, чтобы между нами не было непоняток. Скажи мне прямо, по-пацански – у вас с ней было?
- Сорри, что было? – Том неуверенно поежился.
- Ты это, не юли, ладно? Я же с тобой по-нормальному... Секс был, спрашиваю?
- Петя, какой секс? Я баран, разве ты не видишь?
- Да все вы бараны поначалу, а потом... Люблю я ее. Классная она, Машка. Ничего не могу поделаться. Работа мне ее не нравится, конечно. Я все понимаю, она зарабатывает в сто раз больше меня,

и родители у нее болеют... Но все равно стремно. Девки вечно думают, щас денег заработаю – и на Канары... А потом какой-нибудь иностранец попадется – и поминай как звали. А она же не такая... Вот ты баран, допустим. У тебя все просто и понятно в жизни. Травки пожевал, подрых, овцу покрыл. Снова пожевал. А она сложная... С виду такая, а на самом деле... Не своей жизнью она живет, ох, не своей.

- Я понимаю твои чувства, Петя. И сочувствую. Маша хорошая девушка.
- В общем, ты меня понял, да? Узнаю, что лез к ней зажиматься или будешь ей лапшу на уши вешать – не обижайся. Я нормальный чувак, ты тоже, хоть и есть в тебе что-то... Не совсем ты доверие вызываешь... В общем, запомнил, да? Ладно, давай пять, и я пошел...
- У меня нет пять, – грустно ответил Том.

Странное чувство испытывал Том, оглядывая окрестности в ожидании Пети. Сиреневые в пред-рассветных сумерках заснеженные поля были скучны и унылы, но их волнистая бескрайность таила в себе какую-то мощь и даже красоту. Белое безмолвие нарушали лишь редкие машины, проезжавшие по трассе куда-то в бесконечность. В той тишине и бескрайности можно было бы почувствовать себя затерянным и одиноким, если бы не подлое чувство тревоги от того, что в любой момент на трассе может остановиться машина преследователей, завидевших беглого барана. Или мысль о том, что милые и пасторальные хозяева фермы-кафе, завидев подозрительного барана, могут позвонить куда следует и сдать его преследователям. Или властям, что то же самое. Том, наслышанный о России как о полицейском, тоталитарном и криминальном государстве, все сильнее чувствовал, что кругом враги и что очень обманчива эта тишина, затерянность и умиротворение. Никуда не спрячешься, все равно найдут. И милые, добрые, вежливые люди в любой момент способны превратиться в стаю свирепых волков, а нечаянная помощь от неожиданных людей – просто случайный выигрыш в лотерею, и то очень ненадежный... Вот и Петя, от которого полностью зависит Том, готов проявить неожиданную агрессию. И все из-за каких-то фантазий... Любит он ее. Пусть любит. Его, Тома, это не касается. Он же не претендовал на Машу. Не в том он возрасте, да и не в том положении. Но ведь Маша и правда относится к нему по-особенному. Петей она просто распоряжается, а он, Том, для нее авторитет. Сумел произвести впечатление.

Его взгляд упал на березу. Том внезапно почувствовал необыкновенный прилив сил, огромное желание, просто невыносимую тягу...

Петя вернулся с охапкой сена в руках и кинул его в багажник.

– Ну че, погнали, братан, – сказал он и осекся. Огляделся в недоумении, потом стал смотреть на поваленную березу. – Это че это с ней, а? Как это так она поломалась? – Он посмотрел на Тома. Потом протянул руку и стряхнул с его лба и рогов щепки, обрывки бересты. – Ты зачем это сделал? Тебя ж хозяева могли засечь из кафешки.

Том молча отвернулся.

– Слушай, ты это че – на меня так разозлился? Ну ты живо-отное... Беспредельщик какой-то. Ладно, полезай в багажник, поехали.

– Гоу-гоу-герлз! Девочки – гоу-гоу-герлз! Общий выход! – подгоняла танцовщиц хостес в клубе «Пряный апельсин». – Маша, в строй бегом!

– Я только оттанцевала, я не участвую, – огрызнулась Маша.

– Потом поговорим, – прошипела хостес.

– Машка, ну иди сюда, рассказывай! – позвала из комнаты отдыха Аня, ее ближайшая подруга.

Маша развалилась на стуле за столиком у окна и счастливо улыбнулась.

– Ну, что рассказывать. Письмо прислал. Поеду к нему на Новый год. Уй, не терпится его увидеть!

– Письмо – это серьезный знак. А ты с самого начала почувствовала, что он к тебе неровно дышит?

– Ну, знаешь, я вначале к нему как к обычному клиенту, все как обычно. А он такой: «Вы мне нравитесь, девушка!» На «вы» сразу ко мне.

– А ты че?

– А я такая – раз! Ничего себе. Заявочки.

– А он че?

– А он такой – зырк мне на ноги.

– Ну у тебя ножки-то аппетитные. А ты че?

– А я просто разговариваю, внимания не обращаю. А потом чувствую что-то... Есть в нем что-то особенное. Смотрит и говорит он не как все. Взгляд умный. Манеры уважительные. И характер чувствуется. И я говорю: «Давно в Москве?»

– А он че?

– Нет, говорит, недавно.

– А ты че?

– А я смотрю, у него шерсть такая белая, пушистая, шелковистая. Я его глажу и прям мурашки по телу, аж дрожь какая-то... М-да, думаю, по-па-ла я.

– А он че?

– Ну, он опытный с женщинами, это чувствуется. Может так посмотреть или положит так голову на колени, и я вся такая – ах... Но вел себя сдержанно, уважительно. Не лез сразу во все места. Меня это и подкупило.

– Ты все же поосторожнее с ним. Раз он на тебя так действует, это опасно.

– Да, опасный чувак. Сердцеед.

– Нельзя вешаться мужикам на шею, поверь мне. Как поймет, что ты полностью его, то верхом сядет. Знаки надо давать, что ты его, но не всецело. Пусть поволнуется. Ну, а ты че?

– Ну, а я че – у него шерсть такая теплая, мягкая, я не могу вообще!

– Слушай, а он бляел при тебе?

– Не-а, вообще не бляел. Может, не научился еще. А может, сдерживался. Он вообще сдержанный такой. Чувств почти не показывает, но я-то все чувствую. И как на мои ноги смотрел, и на грудь, и даже руку мне поцеловал...

– Счастливая ты, Машка! Поздравляю, дорогая моя! Слушай, а кто он по знаку Зодиака?

– Он? – Маша задумалась. – Овен, наверное.

– О, Дева и Овен... Неоднозначное сочетание. С одной стороны, Овен... А с другой стороны – Дева! Та еще парочка. Хотя я еще проверю в своих записях, может, и не так все.

– Ну, ты знаешь, я когда его в машину сажала, он мне такой на прощанье: «Машенька, я тебя никогда не забуду! И ты меня не забывай! Приезжай на Новый год! Буду ждать!» И я так растрогалась, до слез прям.

– Слушай, ну это судьба прям. У вас с ним внутренняя связь, это точно. А что в письме-то пишет?

– Ну, все то же. Что ждет не дождется. Скучает. Вспоминает, какая я красивая.

– Так и поезжай, не томи мужика. Но на шею все равно не вешайся. Жди от него шагов.

– Две недели доработаю и поеду, – мечтательно вздохнула Маша.

– Ну, все, я тебя целую, моя милая, а мне бежать надо, в зале ждет один старикашка на приватик.

Аня поцеловала Машу в губы и выбежала из раздевалки. А Маша достала из сумочки конверт с любимым обратным адресом – Костромская область, Пыщугский район, д. Верхняя Шайма – и стала в десятый раз перечитывать письмо, от которого второй день колотилось сердце.

«Здравствуйте, уважаемая Мария Николаевна! В первых строках своего письма передаю Вам горячий привет от мамы Вашей Галины Федоровны и отца Николая Санюча, а за одним от соседней Евдо-

кии Пантелеевны и Федора Свиридовича, и от одноклассницы Вашей Татьяны Петровны Дугиной и родителей ее, да и от всех односельчан. И особенно от учителя Вашего Сергея Сергеевича Пуминова, который любезно помогает мне писать это письмо.

Все Вас очень вспоминают и надеются на Ваш скорый приезд. Я всем рассказал, что у Вас много ответственной работы и как Вас ценят в коллективе, но есть надежда дождаться Вас на новогодние праздники. И все этому очень рады.

Также очень благодарен Вашим родителям Галине Федоровне и Николаю Саньчу за теплый прием. Мне даже неловко, что меня держат в доме и ночевать просят в доме, даже место на диване предлагали, хотя я комфортно чувствую себя и в сарае. Я стараюсь по мере сил помогать Вашим родителям по хозяйству. Научился колоть дрова, мне ставят поленья у стены сарая, и я с разбега их разбиваю в щепки. А по вечерам мы беседуем о разном. Рассказывают мне о своей жизни. Еще мне много хорошего рассказали Ваши родители о Вас, о Вашем детстве и Ваших успехах в учебе.

Мы очень подружились с учителем Сергеем Сергеевичем. Он попросил меня помочь ему с уроками английского языка в школе. Дети очень радовались меня увидеть. Они старательные, вежливые и веселые. Им интересно со мной разговаривать, и они с энтузиазмом взялись за учебу, чтобы улучшать свои разговорные навыки. За две недели стали говорить намного свободнее. Много расспрашивают про Новую Зеландию и Америку.

А вчера меня возили в Заветлужье. Там тоже дети были рады. Катались на санках. А на следующей неделе поедem в Жильскую Шайму. А после Нового года уже поедem в Вохму.

Сельчане ко мне относятся уважительно и приветливо, здороваются и часто спрашивают How do you do? И я им отвечаю “спасибо, и вам здоровья!”. Они сначала приносили Вашим родителям для меня соленые огурцы и сало с водкой, но уже привыкли, что мне больше сено нравится.

Собаки меня тоже почти не трогают. Они в основном дружелюбные, есть только две ненормальные, не скажу с какого двора, хозяева ведь не виноваты. Но я их уже проучил рогами, и они теперь лают только издали. Поэтому я уже сам свободно хожу по улицам. Заглядываю в гости после работы к Сергею Сергеевичу, мы немножко выпиваем водки, он играет на гармошке, и мы поем английские песенки. Например, ту, что вы любили петь, помните?..»

В этот момент большая тяжелая капля упала на письмо, и грудь Маши затряслась от всхлипываний.

Она читала последние строки, и ее руки тряслись, а слезы капали. Она читала знакомый стишок с начала до конца и по несколько раз перечитала вслух последние четверостишия.

Завершалось письмо церемонным прощанием, пожеланиями здоровья, счастья и успехов в труде от всех перечисленных в начале письма персон. Маша прислонилась головой к стеклу окна, глядела на заснеженную ночную улицу и повторяла вслух одни и те же строчки:

*Why does the lamb love Mary so?  
Love Mary so? Love Mary so?  
Why does the lamb love Mary so?  
The eager children cry.*

*Why, Mary loves the lamb, you know,  
The lamb, you know, the lamb, you know,  
Oh, Mary loves the lamb, you know,  
The teacher did reply\*.*



\* «Почему барашек так любит Мэри?» – Нетерпеливо дети кричали.  
«Видите ли, Мэри любит барашка», – Учитель отвечает.

(Популярный английский стишок, который в 1877 году зачитал Томас при испытании первого в мире фонографа.)

# Я НЕ ПЬЮ КОКА-КОЛУ



—  
ДАНИИЛ ФРИДАН

- Эй, парень, ты потерял...
- Это мне? Я развернулся. Девушка держит кожаную перчатку и смотрит на меня. Проверил карманы: точно моя!
- Спасибо большое! Задумался.
- Смотрит на меня, глаза смеются.
- Падает снег. Знаете, пушистый такой, медленно и редко. Декабрь и солнце. День чудесный. Пушкин, извини за плагиат. Минус пять максимум.
- Она одета в розовую куртку. Волосы у нее черные и кудрявые. Просто кипа волос! Цвет кожи смуглый. Смотрит на меня и улыбается. На нос ей приземлилась снежинка. Она вся искрится, сверкает. Губы приоткрыты, яркие. Не пойму: это макияж такой или она такая и взаправду? Брови соболиные, в них тоже искрятся снежинки. Глаза... глаза огромные... карие... теплые...
- Она поворачивается и уходит. Я смотрю ей вслед. Раз, два, три... Резкий выдох:
- Девушка, я провожу вас немного...
- Это вопрос или утверждение?
- Это констатация просьбы.
- Она смотрит на меня, а я улыбаюсь как придурок.
- Нет.
- Я уже не улыбаюсь. У меня взгляд обманутого ребенка. Обиженного ребенка. Ребенка, сфотографированного за секунду до того, как он заплачет.
- Э-э, мистер, я пошутила. Немножко можно.

Бывают же чудеса, правда? Иду рядом и украдкой ловлю ее фрагменты: маленькие пальцы с ногтями без маникюра, ямочки на щеках, когда она улыбается, непослушный завиток шелковистых волос на лбу, ее сережки рябиновые.

Как это все важно для меня! Это все впечатывается в память, выжигается навечно.

О чем-то говорим. Чтобы решиться сказать хоть что-то, мне надо сделать резкий выдох. Воздух проходит через мой сломанный нос с присвистом. Я волнуюсь, я заикаюсь. А вы как думали? Не каждый день встречаешь женщину, свою женщину. Не каждый год встречаешь женщину. Не каждую жизнь встречаешь свою женщину.

Какое-то кафе. Мы уже сидим за столиком. Она снимает черный свитер, который был под розовой курткой. На ней черная декольтированная футболка, на которой горят золотые цепочки, что на ее шее.

- Ты что будешь?
- Мне кока-колу.
- Мне то же самое.

Я завязал свою трубочку узлом и пью глотками. Она смеется. Она трогает меня за руку. Я засучил рукава водолазки, и она трогает меня за голое волосатое мое предплечье. Я стараюсь не показать вида, хотя в точке соприкосновения разряд в 220 прошивает навывлет. Она не чувствует, вот, дотронулась опять.

Не каждый день  
встречаешь женщину,  
свою женщину.  
Не каждый год  
встречаешь женщину.  
Не каждую жизнь  
встречаешь свою  
женщину.

Я вроде успокоился, контролирую дыхание, рассказываю ей какую-то историю. Мои истории – мое оружие. Слова вылетают стихами, рифмуются. Она слушает. Я пою как сирена, как птица Гамаюн, как Орфей, как... Слушай меня, девочка. Язык поет песни, а глаза, независимыми девайсами, смотрят-смотрят. У нее маленький рот, губы одинаковой толщины, хищный восточный вырез, ослепительные зубы, породистые ноздри, огромные миндалевидные глаза, перламутровый белок, карий, почти черный зрачок. Хрусталик глаза сияет бриллиантом. Я мечтал о такой всю свою жизнь, с момента рождения. Душу, родину, друзей, Тараса Бульбу. Что еще продать за нее?

Мы стоим у ее подъезда. Оторванные металлические перила.

- Я пошла.
- Да-да, конечно.
- Но мне правда надо идти.
- Иди.
- Все, пока. Я тебе позвоню.
- Пока.

Мы не поцеловались. Я испугался все испортить. Я уже давно ни с кем не целовался.

Мои уже все спали. Они знают, что раз в неделю я прихожу поздно. Они свеклись, что мне хоть чуть-чуть нужно одиночество. Я постарался их не будить.

Ожил, завибрировал сотовый.

- Знаешь, сегодня мне было так хорошо с тобой. Правда.

Боже мой, какой у нее голос! Еще никогда ни один голос за мою 28-летнюю жизнь не проникал в меня так глубоко.

Вы когда-нибудь прыгали в воду с большой высо-

ты? Когда ты смотришь на воду сверху вниз, это не то же самое, как смотреть в профиль. Сверху вниз страшнее. Ты стоишь у края. Собираешься. Потом делаешь движение. А потом... потом от тебя уже НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ. Как же я любил прыгать в море с высоты! – Знаешь... а я не пью кока-колу. Совсем.

Я вытащил сим-карту из сотового и бросил ее в унитаз. Смыл воду. Вышел и закрыл за собой дверь в ванную. Открыл детскую и посмотрел на спящих детей. Потом прошел к себе, разделся и лег, стараясь не разбудить жену. Опять поднялся, прошел в коридор, достал перчатки из карманов. Скомкал их и выбросил в мусорное ведро.

Знаешь, мне никогда ни с кем не было так хорошо, как с тобой сегодня. И не будет... и уже не будет.



# НОКАУТ

Все случилось на 2-й минуте 3-го раунда. По крайней мере, мне так сказали. Я-то не помню ничего. Даже того, что потом Рашид Каюмович рассказывал.

Говорит, принесли меня в раздевалку, а я в отключке полной. Ну, он бегаёт вокруг, по щекам меня лупит, подсовывает под нос нашатырь. Видит: вроде оживаю. Ресницы захлопали, задышал, а потом глаза открыл.

Сижу, головой вокруг вожу, как бычок, с интересом все разглядываю. А потом и спрашиваю у него, у Каюмовича:

- Где я?
- Что значит «где»? Ты хорош прикалываться, Данила. Где? Во Дворце спорта ты, да.
- Да? А что я тут делаю?
- Ты чего, издеваешься, да? – А сам аж закипает, ну, дагестанец, да, кровь горячая. – Соревнования тут проходят, понял, да!
- Какие соревнования?
- По боксу, твою маму, да! – А сам, как потом говорил, никак не врубится, что я не соображаю ничего. Думал, смеюсь. Уже хотел перемочить мне по челюсти.
- А что я тут делаю?
- Ты – боксер. Ты выступаешь, точнее, выступал.
- Я – боксер? Ну ни хрена себя! – А сам на руки свои смотрю, а на них перчатки боксерские. – И вправду – боксер!

- Слушай, ты меня доведешь щас! Мало того, что, как лох, словил от этого придурка, так еще и разыгрываешь тут из себя спящую принцессу, да! – Каюмович аж закипел.

Мужики, а я честно – не помню. Помню, как маму мою зовут, как папу. А остальное – как стерли из головы!

Тут женщина какая-то в раздевалку залетает, плачет и ко мне кидается. Я на нее киваю и спрашиваю Рашида Каюмовича:

- Слышь, Рашидик, а это кто?
- Ты чего, Данила, это ж жена твоя, Наташка!
- Смотрю я на тетку эту, а она потрепанная какая-то, жирная, грудь четвертого размера болтается бесформенно, подбородок двойной.
- Даня, ты как? Голова болит?
- Как там Каюмович ее назвал? Наташа? Йоханный бабай! Имя-то какое ужасное! И это чудовище – моя жена? Это все я не вслух, конечно.
- Все хорошо.

Да, блин, замечательно! Эта тетка меня тормошит, как массажер, у меня в голову все отдает! Больно! А потом на эту дуру вблизи посмотрел, и вообще – так поганно стало, хоть волком вой!

Тут доктор, слава богу, подошел, отогнал бабу эту. В глаза мне фонариком светит, пульс шупает. А Рашидик, маленький, прыгает вокруг и кричит ему:

Там было, в общем-то, неплохо: умные врачи, строгие медсестры, болезненные уколы, молочный супчик, рис с кусочком курицы... с ма-а-аленьким таким кусочком. Скажу честно, когда приехали меня забирать оттуда, то было хуже.

– Э-э, доктор, сделайте что-нибудь, а то я сейчас этого больного ударю больно! Издевается он, да!

Похлопотал доктор, вроде чуть полегчало, даже не тошнит уже. Тут дверь в раздевалку отворяется, и двое детей каких-то врываются, орут:

– Папа, папа!

Страшные какие-то, сопливые! Я на тренера, на Каюмовича, смотрю украдкой, а он на меня – так подозрительно, с интересом. Ну, я так руки и приподнял, типа, привет. Дети эти как бросятся ко мне!

Не понял что-то. Это что – мои? Блин, а-а-а! Уродливые какие! Пацан этот, с соплей под носом, смотрит так на меня и говорит:

– Папа, ты упал так здорово! У тебя аж ноги подлетели! Я в школе завтра расскажу всем, мне никто не поверит!

А девочка такая страшенькая, облезлая какая-то, мне:

– Папа, у тебя голова болит, да?

Тут опять это тетка жирная прорвалась, сграбастала их, орет:

– Дети, папе плохо. Дайте ему отдохнуть!

А потом была больница. Там было, в общем-то, неплохо: умные врачи, строгие медсестры, болезненные уколы, молочный супчик, рис с кусочком курицы... с ма-а-аленьким таким кусочком. Скажу честно, когда приехали меня забирать оттуда, то было хуже.

А совсем край наступил в первую ночь дома.

Лежу я, значит, в постели, а рядом это чудовище по кличке Наташа. Храпит. Она еще и курит! Запах по всей комнате! И спит с этой голой ужасной грудью наружу! Бр-р-р! Мне снились кошмары!

А еще меня очень беспокоит дочка. Как ее, блин, зовут? Алиса. Ужасное имя! Жена, кстати, сказала, что это я его предложил. Одуреть! Утром, за завтраком перед походом в детский сад, она, смотря мне в глаза, сказала:

– Папа, тебя подменили, да?

Я поперхнулся чаем. Мой сынок, как там его зовут, блин? Стасик. Стасик стал ржать.

Когда все ушли – жена на работу, сын в школу, а дочка в детсад, – стало как-то полегче. Спокойно я чувствовал себя тогда только в одиночестве.

От нечего делать взял кусок ватмана и стал набрасывать пейзаж за окном: полуразрушенную церковь в осаде девятиэтажек. У сына в столе обнаружил акварель и по-быстрому залил карандашный рисунок.

Так потянулись мои унылые недели. Эти дни я мог общаться только с Рашидом Каюмовичем, тренером по боксу. Странно, но его я помнил хорошо. С другой стороны, попробуй забудь этого маленького даргинца веса петуха с поломанным носом и отсутствующими передними зубами, на кавказский акцент которого наложилось боксерское заикание.

С работы инкассатором я ушел: тупая тягомотина! Выяснилось, что в прошлом я никогда не рисовал, и теперь жена подозрительно посматривала на меня, а сынок за глаза называл Репиным. По-моему, это был единственный известный ему художник.

Вскоре я всерьез стал задумываться о самоубийстве. Эти дети были ужасны! Мерзкие, обезьяноподобные! Ни хрена на меня не похоже! А жена! Это кошмарное животное с вонью табака и рыбьими глазами, торчащим нижним бельем из прорех одежды! Когда она меня касалась, меня передергивало от отвращения! Продолжаться дальше так не могло. Каждый день резал болью.

Только Каюмовичу, сидя вечером в тренерской, я мог рассказать всю правду. Он, как обычно, сразу загорелся. «Зачем, – говорит, – такие слова говоришь? Я ударю тебя сейчас! Понял, да?» И тут меня как осенило!

– Каюмчик, слышь, миленький, ударь меня покрепче, ударь изо всех сил своих кавказских!

– Ты чего, больной совсем, да? Отстань от меня! Ты чего меня провоцируешь, да?

– Ты чего, не мужик, что ли? Не кавказец, что ли? Не из Дагестана, что ли? Не даргинец, что ли,

Когда все ушли – жена  
на работу, сын в школу,  
а дочка в детсад, –  
стало как-то полегче.  
Спокойно я чувствовал  
себя тогда только  
в одиночестве.

папа твой? А помнишь, как я тебя на пост твой мусульманский свинными котлетами накормил? А помнишь, с месяц назад, когда ты мне лапы держал, я промахнулся и в лоб тебе попал?

– А-а! Шайтан! На-а!

Каюмчик, он хоть и маленький, 60 кг всего весит, но удар у него еще тот! Как звезданет мне в челюсть правой своей! Ну, в общем, вырубился я.

Очнулся, Рашидик надо мной с полотенцем. Смотрю, тренерская, вся в рисунках моих... ну, портреты там Каюмовича, пацанов. Вроде нормально.

– Данила, ты прости меня, ты же знаешь, мы, кавказцы, как дети, да!

– Да знаю, знаю, Каюмчик, нормально все.

Иду домой, дверь открыл, а там...

Стоит женушка моя в халатике, толстенная такая, тепленькая. Так я к ней прижался сразу, родной моей! А грудь у нее такая большая, мягкая, так и хочется... Натусик.

– Э-э-эй, стой, окаянный! Ты чего делаешь! Дети же тут!

А дети тут как тут! Бегут ко мне, ручонки тянут! «Папа, папа!» – кричат. И Стасик мой – ну вылитый я! Только нос не сломан пока! А Алиса! Имя у нее красивое какое, правда?

Целую я их, обнимаю. Так мне радостно!

Работу я нашел новую. В ресторане французском. Тут ведь история какая... по-французски я говорить и понимать стал после того, как Каюмчик меня по башке треснул. Я, правда, жене не говорю об этом.

Ну и случайно по-французски разговорился с одним, а он рисунки мои увидел, загорелся весь! В общем, управляющий я в его ресторане теперь. По стенам там картины мои висят. Клиентура вдвое увеличилась. Я сюда Рашида Каюмовича

привел, ну а он – всех родственников своих, односельчан там.

Они сначала с французиком моим не очень. Ну, оба маленькие, черненькие. Рашидик чуть что – сразу:

– Э-э, понял, да? Я сейчас ударю тебя, да!

Ну, потом ничего, даже подружились. Рисовать я не перестал. Вот на днях мне предложили выставку делать свою персональную.

Ну, я не знаю, не уверен. Я тут об этом Каюмчику рассказал, что, мол, сомневаюсь, не думаю, что стоит это того, что рисунки мои понравятся. Да он накричал на меня:

– Слушай, совсем плохой, да? Я сейчас по голове тебе дам, сильно, понял, да? У человека талант, а он – я не знаю, я не уверен! Ты что, не мужчина, что ли? Я, правда, сейчас тебя ударю, да! Ты же по рисованию – красавчик реальный!

Ну, как с ним поспоришь? Короче, думаю, что придется делать выставку. Тут придумать название еще нужно к ней. Да что-то в голову не лезет ничего...



# СУДЯ ПО ТЕКСТАМ

РАССКАЗ



АРИНА БОЙНО  
Писательница и драматург. Родилась в 1996 году в городе Чехове. Окончила магистратуру «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ. Авторна рассказа «Публичные места» в сборнике «Маленькая книга историй о женской чувственности» No Kidding Press

и пьесы «Стопроцентная любовь огонь страсти полноценных желаний отношений и тебе от меня». Сореданторна независимого литературного журнала «Незнание».

Когда он ушел, я проверила звук на телефоне: включен.

Хотелось поскорее рассказать о прошлой ночи Ане, но она была далеко – за семь тысяч триста двадцать три километра, а разница во времени неделями не давала нам созвониться.

В Ане было что-то такое, чего не было во мне. То, как она ловила губами воздух, прежде чем голос вылетал из них, взвешенный и глубокий. Как затягивала в высокий хвост густые малиновые волосы. Пока остальные топталась в подростковом возрасте как в чужом коридоре, Аня точно знала, чего хочет. По крайней мере, если судить по ее описанию во в «ВКонтакте», где в любимых цитатах значилось: «Мне хотелось сжечь Лувр. Раскрошить молотком на мелкие кусочки греческую коллекцию в Британском музее и подтереться Моной Лизой. Отныне этот мир принадлежит мне!»\*

Мы учились в одном классе. Типичная провинциальная школа – блеклое, обзаборенное здание, от которого в воспоминаниях остается только сырой запах хлорки, которой каждый день моют пол. Мы вместе ненавидели место, в котором родились («маленький город на юге Подмосковья») – с его душными людьми и засаленными чужой перхотью сиденьями в автобусах.

В новостях по телевизору, который был включен постоянно, как будто мы всей семьей ждали, что там скажут что-то конкретно про нас и боялись пропустить, показывали протесты, президента, танцы в храме и снова президента. Но когда я приезжала в Москву, ничего этого там не было. Одинаковые, как из бесцветного лего, дома – как у нас, и метро, пахнущее кислым майонезом, – ничем не лучше автобусов. Когда я приезжала в Москву, казалось, что у нее выходной. Так было, пока я не познакомилась с Ваней.

Ваня был на четыре года старше меня, носил сумку через плечо и мог в разговоре употребить частицу «хз». Я была им абсолютно очарована.

Мы виделись по субботам: ходили на выставки или в кино. В нашу первую встречу (мы познакомились в «ВКонтакте») мы были в Политехническом музее на лекции об эволюции. Зал был переполнен, мы сидели на ступеньках под витражным стеклом, он взял меня за руку и спросил:

- Ты видела фильм «Фрэнсис Ха»? – Он произнес последние два слова с нарочитым акцентом.
- Франческа?
- Нет-нет, «Фрэнсис Ха». Не помню, как на русском. Я молчала и смотрела на руки. Фильм я не видела.
- Ты похожа на главную героиню, – сказал он и разжал мою руку, как ребенок, которому надоела игрушка.

\* Чак Паланик, «Бойцовский клуб».

Я улыбнулась в ответ и сделала вид, что слушаю. По дороге домой я загуглила название фильма: *Frances throws herself headlong into her dreams, even as their possible reality dwindles\**. Больше за руки мы не держались.

Мама со своими строгими ограничениями во времени и пространстве то и дело посягала на мои субботы.

– Обязательно ехать в такую даль? – спросила она, в ее глазах было даже не беспокойство – гнев.

– Обязательно! – огрызнулась я.

М-да, зря я ей вообще сказала, в следующий раз нужно быть хитрее. Может, прокатит.

– Значит, успеешь. – Она смягчилась и перевела взгляд с меня на экран телевизора. – Или вообще никуда не поедешь.

Ане спрашивать о таком не приходилось. Что там! Она курила и даже не скрывала этого от родителей.

Ее жизнь для меня была как сериал. По воскресеньям она ходила в кино с одним спортсменом, который приехал в наш город, чтобы играть в сборной по водному поло. Он как-то раз принес ей розу, а потом сказал, что у него есть девушка, но звать Аню в кино не перестал, а она не перестала соглашаться.

Той зимой я наткнулась в «ВКонтакте» на еще одного чувака: нечитаемая вязь (ရုပ်ရှင်မိတ်စိန် – тайский, читается как лун-бунг-мира-люнг) вместо имени, в подписках – паблик с собственными стихами. Я долго не могла уснуть – читала их один за другим. Они были как на другом языке: вроде все слова знакомы, а смысл ускользает. Добавляться в друзья не стала, скинула Ане с подписью: «Влюбилась в его стихи».

– ...А потом он такой берет меня за руку!

– А ты что? – вызванивала я ее по свежим следам.

– А я ему: ну, чувак, это уже ту мач.

Наш смех синхронизируется через телефонную трубку. Тут я вспоминаю про свой план.

– Если что, я, типа, у тебя в пятницу двадцать четвертого? – заговорщически прижимаю трубку ко рту.

– Без бэ. Кстати, я твоего поэта в друзья добавила. Сегодня переписывались, – неожиданно сменила тему Аня.

– Серьезно? – спросила я, хотя и не была удивлена.

Я чувствовала себя сонграйтером, у которого украли лучшую песню. Утешало одно – назревающая любовь тут, на северо-западе Москвы.

В одну из суббот на улице стоял такой мороз, что мои волосы покрылись инеем, а щедро накрашенные глаза слезились. В лифте я посмотрелась в зеркало. Вместо моего отражения в нем показывали наше сегодняшнее прощание. Наши приветствия и прощания – вот что было самым важным для меня. Правда, приветствия часто происходили не так, как нужно, или не так, как я себе представляла: то я потеряюсь в толпе в метро, то он опоздает на полчаса и не извинится. А вот прощания ни от кого, кроме нас двоих, не зависели.

Тогда на прощание он обнял меня. Точнее, не меня, а мой мутно-зеленый пуховик. Хорошо, когда можно быть так близко.

– Ты хоть видела его? – спросила я, сидя на розовом диване в Аниной комнате.

На полу стояла открытая бутылка с вином и тарелка с твердым сыром.

– Нет, он сказал, что не фотографируется. – Аня потянулась к тарелке.

Мы смотрели фильм «Милая Фрэнсис».

– А ты читала его стихи?

– Да. Он мне что-то там присылал, – прожевала она.

– Вау, и как?

– Я думаю поехать к нему. Он живет в Минске, – сказала Аня, как будто это было связано со стихами.

– А вдруг он, ну, не знаю... старше? – намеком спросила я.

– Да не, он норм, я такие вещи чувствую. – Аня щелкнула мышкой, и мы снова оказались в черной версии Центрального парка, по которому гуляли две главные героини.

Каждый раз, когда я пишу сообщение, я продумываю возможные варианты ответа. Например, я пишу «я посмотрела фильм милая фрэнсис!». Я знаю, что на это могут быть такие ответы: «и как тебе?», «понятно» или просто эмоджи «палец вверх». Я выбираю градацию – от лучшего ответа к худшему. Я нажимаю «Отправить». Проверяю звук на телефоне: включен.

Ваня был первым человеком, чьи сообщения я учила наизусть. Общение с ним было раскопками, а его короткие энигматические послания – артефактами. Я раскладывала их вокруг себя, пытаюсь отличить по-настоящему ценные находки от мусора.

– Кому ты там пишешь? – незаметно подкралась Аня, когда я сидела на лавочке перед кабинетом

\* «Фрэнсис стремительно бросается в свои мечты, даже когда их возможная реальность истощается» (здесь и далее переведено с английского с помощью Google Translate. – Прим. авторки).

истории, записывая в заметки пришедшие в голову строчки.

- Никому. Просто пишу, – застеснялась я.
- Ничего не просто. Я все про тебя знаю! – засмеялась она и протянула руку к моему телефону, в шутку пытаюсь отобрать его у меня.
- Ладно, вот, смотри. – Я направила на нее отсвечивающий на солнце экран. – Это новое.

*между нами разница  
тайм лапс  
таймс пас  
от строгиню до аннино  
если хочешь остаться  
на полу будет жестко спать  
у меня есть пенка*

*скучаю  
хочу положить руку тебе на коленку*

Не успела она дочитать, как прозвенел звонок.

- Офигенно, зай. Пришли мне вэка, плиз.
- Она захрустела каблуками по коридорной плитке в сторону кабинета.

Аня была главной ценительницей моих стихов. Она ставила строчки из них в статусы в «ВКонтакте», что отчасти приравнивало меня к Чаку Паланику, и этого признания мне было достаточно.

Последний день учебы перед зимними каникулами мы отмечали коробкой зефира и ликером «Бехеровка», тайком взятым из папиного бара.

- На вкус как слезы, – поморщилась я от первого глотка.

Аню это рассмешило. Опынение не наступало, только захотелось спать. Я растянулась на диване, чувствуя себя тем помещиком из «Мертвых душ», который любил чилл\*. По музыкальному каналу крутили клипы 90-х. Аня слизывала с пальцев растаявшую глазурь.

- Ты хотела мне что-то показать, – вспомнила я.
- Точно, шас!

Не успела я обернуться, как она уже хлопала дверцами письменного стола в другой комнате. Через секунду у меня перед глазами появилась вытянутая бумажка. Бледные буквы на розовом фоне расплывались – ну привет, бехеровка.

- Электронный билет. E-ticket. Москва. Белорусский вокзал. Минск, – прочла я вслух, приподнимаясь на локтях с дивана, – а-а-а, че, реально?! Когда?

- Двадцать четвертого. – Аня взяла еще одну зефирку и целиком отправила ее в рот.

В тот же день.

Была оттепель, минус один. Я надела свою бежевую парку, о которой мы с мамой постоянно спорили: она считала, что та осенняя и бомжатская, я – что зимняя и элегантная.

В кафе «Пирог на Маросейке» играла новогодняя музыка. Мы заказали два глинтвейна.

- Мой сосед по общежитию уехал на вписку. Так что могу показать, что тебя ждет, если поступишь в МГУПИ, – предложил Ваня, отхлебнув глинтвейн из прозрачного стакана на ножке.

В МГУПИ поступить было никак нельзя – курсы в МГИМО, занятия с преподавателями из МГУ и родители задавали другую планку: как минимум ВШЭ. Втайне я надеялась вовсе презреть необходимость высшего образования – сразу поехать в Голливуд, первое время сниматься в кино, а потом и самой стать режиссером, как Грета Гервиг\*\*.

За окном была Москва, на часах было семь тридцать.

Я посмотрела на Ваню – в его лице была какая-то приятная симметрия, словно сложили пазл из всего, что я люблю. Скажу маме, что мы с Аней смотрим фильм и я ночую у нее. Это даже больше похоже на правду, чем то, что на самом деле со мной происходит.

Ваня просит счет (каждый платит за себя сам), и мы выходим на улицу Маросейку. У него темно-синяя куртка с мехом вокруг капюшона, а у меня замерзли руки, я забыла дома перчатки. Самую романтическую улицу города, в который Ваня три года назад приехал из Калуги учиться на печатника. Руки в карманах. Не помогает.

- Какие планы на Новый год? – спрашиваю я, радуясь так быстро придуманной теме для разговора.
- На ночь кино в «Художественный», наверное. А у тебя?

Мы шли мимо дворовых арок по пустой, освещенной одними гирляндами улице.

- С друзьями буду отмечать. Полночь с родителями, а потом...

Ваня вдруг остановился напротив одной из ведущих в темноту арок.

- Я сейчас, – перебил он.

Он слился пуховиком с маросейскими потемками и исчез. Я стояла посередине тротуара, ежась от

\* От английского сленгового глагола chill – отдыхать, расслабляться.

\*\* Американская актриса и режиссер, исполнительница главной роли в фильме «Милая Фрэнсис».

холода. Минус один. Это было, скорее, про Ваню, чем про температуру. Я оглядывалась по сторонам как человек, который ищет закладку или заблудился.

– Извини, надо было отлить.

Ванина длинная фигура высветлилась прямо передо мной.

Я кивнула. Мы продолжили путь.

В восемь ноль пять по местному времени поезд прибывал в город-герой Минск. Сверяясь с карманным зеркалом, Аня замазала усталость тональным кремом и достала из косметички пробник духов.

– К молодому человеку едешь? – спросила женщина напротив, грызя в качестве ужина ломкие вытянутые сушки.

– К другу, – честно ответила она.

По купе разлился терпкий запах сладкого спирта.

Лунгбунгмиралюнг, которого в жизни звали Коля, встречал ее на перроне в серых узких джинсах и твидовом пальто. Заметив Аню со спортивной сумкой на плече и рюкзаком, он не сдвинулся с места.

– Ну, привет, – сказала Аня, закуривая.

– Привет, Марла\*. – Он улыбнулся и оказался еще менее привлекательным.

– Не сможешь с сумкой? – Аня выдохнула сигаретный дым и подставила ему правое плечо, с которого свисал черный бесформенный баул.

Коля снял его – таким было их первое прикосновение – и, взвалив себе на спину, кивнул в сторону указателя «Выход».

Он жил в по-советски просторной квартире в центре Минска. Соседнюю комнату снимал японец, который приехал сюда два года назад преподавать английский, а теперь целыми днями играл в плейстейшн. На кухонном столе стояли две бутылки вина, крупы в картонных коробках, тостер и какие-то бумаги. Казалось, это был стол не для еды, а для ненужных или забытых вещей. На бледной стене висела бледно-розовая карта России.

– Патриот, что ли? – подстебнула его Аня.

– Это Такеши пытается учить русский. – Коля вворачивал штопор в одну из бутылок.

Разговор не шел. Аня всматривалась за окно в деревянную покоцанную раму, как будто силясь там разглядеть эту розовую Россию. Видела только, как дрожат на ветру выцветшие деревья. Без пальто Коля оказался толще, чем она себе представляла, хотя ноги и были худыми, живот выпирал из-под

свитера, выдавая неправильное питание и спортивную заброшенность.

Комната Коли оказалась так же загадочна, как и его страница в «ВКонтакте»\*\*: вместо кровати – слоеный торт из двух матрасов, вместо шкафа с одеждой – стеллаж, заставленный книгами, стол с ноутбуком, деревянный стул и все. Аскеза.

– Я еще возьму у Такеши раскладушку, – сказал он, видя ее растерянное лицо, но Аня была уже достаточно пьяная, чтобы ответить:

– Да мне и так норм.

Аня сбросила сумку у двери и подошла к стеллажу. Корешки пестрели пока незнакомыми именами: Рембо, Фрост, Уитмен...

– О, ты тоже знаешь Уитмена? Моя подруга его любит, – сказала Аня, доставая с полки «Листья травы».

В общаге пахло стиркой и макаронами. В остальном – обычный подъезд. На входе сидел дежурный – окно в стене было прикрыто, из щели доносился уютный гул телевизора. Слева от лифта – лестница. Ваня поднес палец к губам, и мы беззвучно прокрались по лестнице на второй этаж.

– Это наша кухня! – анонсировал он, когда мы проходили мимо просторного помещения без двери.

Я заглянула внутрь. Стальной гарнитур и белая плитка больше напоминали больницу.

– А где холодильник? – поинтересовалась я, пока мы шли по коридору. Вдоль одинаковых дверей, как в гостинице.

– А холодильник у каждого в комнате. Чтобы не воровали, – роясь в кармане джинсов, пояснил Ваня.

Мы остановились перед одной из дверей. Под ней горела полоска света. Я посмотрела на Ваню, но он не вернул мой взгляд.

Дверь открылась еще до того, как Ваня повернул ключ и мы зашли внутрь.

– Костя?

В дверном проеме комнаты показался светловолосый парень в полосатой футболке. Он отклонился, сидя в компьютерном кресле, и прищурился, секунду разглядывая меня. В его взгляде было что-то наглое. Я испугалась его, как пугалась старшего брата Ани. Неловкость вызывало само присутствие этих мало знакомых полувзрослых. И потом, непонятно было, как с ними здороваться: привет или здравствуйте?

– Здравова, – отозвался Костя из комнаты.

\* Марла – героиня книги и одноименного фильма «Бойцовский клуб», в которую влюбляется альтер эго главного героя – бунтарь Тайлер Дерден.

\*\* Это закрытый профиль. Добавьте [ລູກຢູນໄຮລິນ](#) в друзья, чтобы смотреть его записи, фотографии и другие материалы.

Я аккуратно ступала по грязному паркету в комнату. Мой план рушился.

– ...Учился в лучшей гимназии Минска. Потом поступил на журфак. Но через полгода ушел. Это дно было. Академия истрепалась в хлам, – рассказывал Коля, а Аня все смотрела на его маленькие тонкие губы – такие губы почему-то вызывали у нее отвращение. – Если хочешь быть поэтом, то нужно держаться от таких мест подальше. Понимаешь?

– А как же диплом?

Когда он говорил, Ане было скучно, а когда он замолчал, она не знала, что сказать.

– Высшее образование переоценено. Меня уже сейчас зовут преподавать в гимназию, где я учился. Я отказываюсь. Потому что эта система свое отжила, но все продолжают делать вид, что ничего не изменилось.

Аня зевнула.

Коля продолжил лекцию:

– Рембо не нужен был диплом. Он был настоящим поэтом. Понимаешь?

Аня посмотрела куда-то сквозь него. Ей захотелось взять его за руку, но она только кивнула.

– А тебе какие поэты нравятся? – спросил Коля, наконец заметив Анину скуку.

– Я больше по русской поэзии. Серебряный век. Ахматова там, Есенин.

Коля многозначительно покачал головой, взял со стола бокал и залпом выпил остаток. Ане вдруг стало неуютно от одного его присутствия.

– Ты уверена, что тебе не нужна раскладушка? – переспросил он.

– Может, и нужна. Если честно, уже хочу спать, – ответила Аня и подумала: «Лучше бы он оказался старше».

Коля сделал то ли расстроенное, то ли злое лицо.

Холодильник и правда стоял прямо в комнате. Рядом на табуретке ютились две кружки, чайник и банка с кофе. У подножья двухъярусной кровати – башня из картонных коробок. Все это превращало комнату в странную смесь кухни, спальни и кладовки. За накрытым клеенчатой скатертью столом с ноутбуком сидел Костя. В старое выпуклое стекло билась голая ветка.

– Ого, двухэтажная кровать! Мечта детства! – сказала я, сама не зная кому.

– Можешь залезть на второй этаж, если хочешь, – ответил Костя.

– Эй, это моя кровать вообще-то! – отозвался Ваня из коридора.

Я уже нашла лестницу и карабкалась вверх.

Здесь, на втором этаже, было как в шалаше или на облачке. Я сидела, свесив ноги в шерстяных носках. Сверху комната казалась маленькой коробкой для еще меньших коробок – вечной матрешкой. Жить бы я здесь не хотела.

Он принес мне чай. В чашке плавал пакетик.

– Я думал, ты уехал, – сказал Ваня.

– Не, все слилось в последний момент, – ответил Костя, и они стали дальше обсуждать ситуацию с несостоявшейся впиской так, как будто меня здесь нет.

Я перестала бояться Костю, теперь я его ненавидела. Он мешал мне остаться наедине с Ваней. Я посмотрела на ветку в конвульсиях, а потом на время. У меня оставалось полчаса. Я решила: если сегодня так ничего и не случится, то я перестану ему писать.

Ваня сидел рядом со мной, здесь, на своем облачке. Его коленка касалась моей руки. Когда я чувствовала это, то забывала, что соврала маме, что я только что обожгла кипятком язык. И он горит.

Глнтвейн выветрился, и я молилась, чтобы Ваня все равно поцеловал меня. Но что такого нужно сделать или сказать? Будь Аня на моем месте, она бы знала.

За полчаса я сказала две фразы: «в одиннадцатом классе» и «мне уже пора выходить».

– Мне уже пора выходить, – прервала я перестукивание мужских голосов.

– Тогда пойдем, – бодро сказал Ваня, как будто только этого и ждал. Может, тоже хотел поскорей меня поцеловать.

– Я с вами. В «Перек» как раз собирался. – Костя вздохнул, как если бы кто-то заставлял его с нами идти.

– Тогда пойдемте. – Ваня одним движением слез с кровати и протянул мне руку.

Я взяла его за руку и прыгнула вниз, в новую взрослую жизнь.

Когда Коля вышел за раскладушкой, Аня еще раз окинула взглядом его комнату. Может, надо было снять номер в гостинице? Ей вдруг захотелось домой. У нее дома по выходным пахло сырниками, а по будням – коричневыми свечками, которые она жгла в своей комнате с розовым диванчиком. Здесь пахло пылью и... заброшенностью. Ей уже второй раз за вечер приходило в голову именно это слово. За дверью что-то гремело. Обнимая металлические прутья, Коля занес в комнату собранную раскладушку.

– Я сейчас пишу сборник стихов, – рассказывал он ей позже, когда свет был уже выключен.

Аня лежала, накрывшись одеялом до подбородка, и старалась не двигаться – пружины противно скрипели по любому поводу. Они смотрели в потолок, перекидываясь репликами, как еще несколько часов назад – сообщениями.

– О чем сборник? – Аня провалилась в раскладушку, как в чью-то ладошку.

– Все о том же: тлен, смерть, любовь. Любовь и смерть. – Он усмехнулся собственной шутке. – А ты сама-то пишешь?

– Да, иногда, – соврала она.

– Покажешь? – В глазах Коли появилось что-то похожее на интерес.

Аня вытащила из-под подушки телефон, и ее лицо подсветилось синим.

Началась метель. Снег летел в рот и в глаза, я надвинула шарф до лба, но он скатывался, позволяя обжигающим крошкам снега бить меня по щекам. Глаза опять слезились. Это даже хорошо. Снег стеклянной крошкой залетал в легкие, царапая их изнутри. Перестану ему писать. Раз и навсегда.

В кармане куртки завибрировал телефон. Мама.

– Алло.

Я замедлила шаг.

– Ты где? У нас такая метель!

– Я у Ани.

Ваня обернулся на меня, но тут же зажмурился от ветра. Я добавляю:

– У нас тоже!

– Что? Плохо слышно.

– Я у Ани еще, вернусь поздно. На такси.

– А, ну, хорошо. Дверь закрыта на верхний. – В мамином голосе не было недовольства или подозрения.

Я сбросила звонок, убрала телефон в карман и заскользила по примерзшему асфальту догонять Ваню.

Через несколько домов мы свернули за угол, и впереди замерцали вывески ларьков с шаурмой, ремонтом телефонов и сигаретами, а за ними – красный знак «М» и зеленый фасад магазина «Перекресток». Сердце замерло, а потом забило в панической атаке. Ваня шел рядом, его ноги разъезжались на льду, как у нелепой собаки или оленя. Я схватила его под руку, то ли чтобы не упасть, то ли чтобы не упала моя первая любовь.

У лестницы, ведущей в супермаркет, они останавливаются.

– Покурим? – спрашивает Костя, уже с сигаретой в зубах, рыская по карманам зажигалку.

Ваня смотрит на меня.

– Вон там вход в метро, – кивает он в сторону красного знака.

– Да, вижу.

Какое-то время они курят, я стою. Когда Костя отходит потушить сигарету об урну, я говорю:

– Ну, я пойду, пока.

– Пока, – улыбается он.

И все.

Мы обнимаемся на прощание. «Я буду скучать», – хочу сказать я, но родной язык становится плохо выученным иностранным. Я выдавливаю из себя слова, они никак не соединяются в предложение:

– Теперь. Мне. Опять. Будет. Скучно.

Он ничего не отвечает. Пазл на лице сложился в улыбку и остался таким навсегда в моей памяти. Костя уже поднялся по ступенькам и тянет на себя дверь. Я машу ему обветренной рукой без перчатки.

Проверяю время: на автобус еще успеваю. Вдруг становится стыдно, что соврала маме. Я отворачиваюсь, в лицо мне с новой силой бьет снег.

Утром Аня проснулась от запаха горелого масла. Было девять утра. За окном сонно падал снег. Вчерашний вечер врывался в сознание обрывками.

– Неплохие стихи. Почему не публикуешь? – по-наставнически спросил Коля с соседней кровати.

– Да как-то. Руки не доходят, – оправдалась Аня.

– Марла?

– Мм?

– Не хочешь лечь со мной?

– Если честно, нет.

– Ок.

Очень хочется пить. Аня натягивает джинсы и идет на кухню. Там низкорослый, но крупнотельный мужчина в трениках жарит что-то похожее на пельмени.

– Hi!\* – говорит он.

– Хай, – отвечает Аня.

– Г'м Takeshi\*\*. – Он улыбается и протягивает ей маленькую плотную ладонь.

Он пытается что-то объяснить, но она понимает только, что Коля ушел. Вэр из Коля? Такеши тараторит, он спрашивает, будет ли она лапшу. Ес, плиз. Ей хочется сбежать. Садится за стол под бледно-розовой картой и набирает сообщение:

«Он куда-то ушел и мне кажется это из-за меня».

Когда я проснулась, было уже десять тридцать. От него – ни одного. Зато новости от Ани.

\* Здравствуй!

\*\* Я Такеши.

Отвечаю: «Почему? Все настолько плохо?»  
Аня: «Ага. Думаю менять билет».

Она вернулась на три дня раньше.

– Мы почти не разговаривали, потому что я отказалась с ним спать. В первый день я сходила погулять по Минску, а во второй не выдержала и переехала в гостиницу, – рассказывала она мне, сидя на том же розовом диванчике, что и две недели назад.

Я слушала и думала: «Он мне так и не написал. Это конец». Заметив мою отстраненность, Аня сказала:

– Мне нужно кое-что еще тебе рассказать.  
– Давай, – приготовилась я к новой порции ее походов.  
– Я выдала твой стих за свой. – Аня закрыла глаза рукой.  
– Зачем? – удивилась и даже разозлилась я.

Было обидно, что я выгляжу как человек, с которым можно так поступить.

– Мне хотелось показать ему, он не один тут такой умный и крутой. Чем-то заинтересовать.

Аня смотрела мне в глаза, как провинившийся ребенок, зная, что его простят.

– И что он сказал?  
– Ничего, я же говорю, мы почти не общались после первой ночи.  
– Нет, про мои стихи.  
– Что они классные, конечно.

Потом я пойму: возможно, и это была ложь, но тогда я внутренне ликовала: мой текст прочел человек, которого я считала настоящим поэтом.

– Ты не обижаешься на меня?  
– Нет, все okay. Я уже и думать забыла! – Но я не забыла.

Все каникулы я просыпалась с плохим настроением и писала стихи: что-то там про теньевую власть в маленьких городах и хрупкие, как лед, чувства.

Через полгода, на вступительных испытаниях в Литинститут, серьезные люди в костюмах сказали про них:

– Это интересно. А у вас есть что-то не лирическое?

Не лирического у меня не оказалось, но в Литинститут меня все равно взяли.

А потом вышла книга у Коли. Я поехала за ней в специальный полуподпольный книжный, и по дороге прочтя сама, на следующий же день отдала Ане.

– Шлюхи рвутся в мой дом, как на новоселье, / Шлюхи любят Сергея Есенина, – с издевкой продекларировала она и, сменив интонацию, добавила: –

Согласны? Узнали?

Я рассмеялась:

– Думаешь, про тебя?  
– Судя по тексту – да.  
– Ну, это просто очень плохие стихи, – резюмировала я.

В тот день, когда Ваня спустя много лет подписался на мой «Инстаграм», я проснулась рядом с мужчиной. От его темных волос пахло мылом. Мы познакомились на концерте. Я стояла под лестницей у прилавка с мерчем\*, вертела в руках кассету за десять долларов. Я сказала: жаль, мне негде такое слушать. Он услышал и сказал, что у него в машине старый магнитофон. На другом языке любой разговор интересней, любая ситуация – сцена из кино. Фрэнсис стремительно бросается в свои мечты.

Когда он ушел, я проверила звук на телефоне: включен.

*Декабрь 2018 – март 2019 года*



\* Мерч – различная продукция с какой-либо символикой.

# СТИРАЛКА



## РИЧАРД СЕМАШНОВ

Родился в 1991 году в Калининграде. По окончании гимназии поступил в московский институт на факультет экономики, а затем в тульский университет на психфан. Оба факультета бросил. Работал разнорабочим, продавцом, грузчином, сторожем.

После службы в армии поступил на заочное отделение журфана, которое окончил в 2016 году. Под псевдонимом РИЧ записал несколько музыкальных альбомов, в том числе «Патологии» (совместно с Захаром Прилепиным), «У дома», «Литий», «Мой трип-хоп» и др.

В настоящее время живет в Санкт-Петербурге и работает нолумнистом в разных изданиях.

Я не знаю, откуда она появилась в нашей квартире. Белая, слегка пухлая и очень шумная в процессе.

Скорее всего, два похмельных грузчика, тяжело дыша, затащили ее на второй этаж, благодаря своего бога грузчиков, что в этот раз заказ пришелся поближе к земле.

Поскупившись на деньги, хозяйка нашей квартиры не стала брать новую стиральную машину, поэтому нам досталась старушка, мечтающая побыстрее закончить свою, полную страданий, жизнь. Однако никто ее хоронить не спешил.

Несмотря на благородный возраст, должным уважением она не пользовалась – мы звали ее стиралка. Это все равно что свою родную бабушку называть старухой. Стару-у-уха!

Как больная пенсионерка, не всегда успевающая в туалет, после каждой стирки она пускала жидкость, которая подло растекалась по всей кухне. Работу с бельем она сопровождала ужасающими звуками и нервными, дергаными движениями, будто бы у нее приступ эпилепсии.

Выполнив работу, стиралка терпеливо ждала, когда из нее вытащат до конца не отжавшееся белье, достанут и высушат тряпки, лежащие под ее брюхом, которые хоть как-то сдерживали потоп, и повернут ее белый мозжечок от «быстрой стирки» до OFF.

Помимо основных обязанностей, стиралке приходилось выносить выходки маленького и неверо-

ятно активного ребенка, который то и дело подбегал к ней и, вставая на носочки, начинал крутить белый мозжечок и долбить по всем имевшимся кнопкам. Рано или поздно стиралке приходилось повиноваться детскому произволу и вхолостую крутить барабан.

На звуки незапланированной стирки прибежала мать ребенка и, громко ругнувшись и хорошо приложившись ему по попе, выключала стиралку. Сцена эта с разной степенью громкости и количеством ударов могла повторяться от двух до пяти раз в день. Это сильно изматывало стиралку, которой не то чтобы повысили пенсионный возраст, а просто-напросто отменили его – работай, пока не сдохнешь. Для стиралок, к сожалению, еще не придумали эвтаназию.

Бывало, что в супружеской комнате начинали орать друг на друга родители ребенка, и тогда с большой долей вероятности из комнаты мог выскочить глава семьи и, выкрикивая матом риторические вопросы, со всей силы вдарить с ноги по ее круглой белой двери, да так, что та чуть не срывалась с петель.

«Какого хрена я должен это терпеть?» – орал он. У стиралки был тот же вопрос.

Если главе семьи когда-нибудь удалось бы отломить ей дверь, стиралка была бы только счастлива, поскольку, скорее всего, ее отвезли бы на помой-

ку, где нет криков, мокрого белья и злого ребенка с узкими и хитрыми глазами. Именно это медленное бездверное ржавление можно было бы назвать счастливой старостью.

Глава семьи шумно обувался, цапал с вешалки куртку и, нащупав там ключи, выбежал из дома, громко хлопая железной дверью. Через несколько минут из супружеской комнаты выходила заплаканная мать ребенка и закрывала железную дверь на щеколду. Она шла умываться и, убедившись, что в детской комнате никто не проснулся, включала чайник.

В отличие от стиралки, я был новеньким и работал исправно. На меня никто не ругался, и даже когда мою крышку закрывали с чрезмерным рвением, меня это лишь бодрило.

На столешнице, где я жил, всегда было чисто. Ребенок до меня не дотягивался, а соседка-соковыжималка в основном спала, не донимая лишний раз своими чрезмерными вибрациями.

Стиралка находилась прямо подо мной, и всякий раз, когда после тяжелой работы она начинала тихо выпускать из-под себя воду, мне было ее жалко. Свою воду я нагревал и отдавал по назначению – через горло, и, наверное, сгорел бы со стыда, пустив ее через днище.

Запустив в кружку, где была моя горячая вода, чайный пакетик, мать ребенка обнажала конфету и, медленно похлебывая из кружки, принималась импульсивно набирать сообщения в телефоне. «Дзень!» – приходили ответы.

Вскоре просыпался ребенок и, неуверенно выходя из детской, жмурясь, смотрел на маму. «М-м-м!» – произносил он, показывая ручкой на железную дверь, в проеме которой недавно пропал глава семьи. «М-м-м!» – повторял он и, подойдя к маме, обнимал ее за ногу.

Мама снимала с него штаны, носки, футболку и памперс и, помыв ребенка, под его внимательным контролем закидывала все, кроме памперса, в стиралку. Ребенок помогал закрыть дверцу и, когда раздавался соответствующий щелчок, обозначаящий, что дверца зафиксирована, начинал хлопать сам себе в ладоши. «Молодец, – подтверждала мама. – Сейчас будем есть». «Я не хлопал стиралке – я дал себе пять», – говорило его детское, но наглое выражение лица.

Спустя несколько мультиков, прочитанных страниц, кружек чая и сообщений в телефоне домой возвращался поддатый глава семьи. «Ну, привет!» – с улыбкой говорил он в сторону кушающего ребенка. «Привет, любовька», – нежно отвечала мать ребенка.

Я понимал, что они предварительно помирились в переписке и, возможно, сейчас поставят ребенку самый проверенный мультик «Три кота», чтобы, уйдя в другую комнату, мириться по-настоящему.

У них было в запасе немного времени до прихода мастера по стиральным машинам, которого они вызвали вчера. Может, ее наконец подлечат.

Стиралка закончила работать над одеждой ребенка и под стоны примирительного переписки в соседней комнате потекла.

– Не разувайтесь! – сказала слегка растрепанная мать ребенка заходящему в квартиру мастеру.

Глава семейства, не до конца одевшись, незаметно перебежал в комнату, где ребенок смотрел мультфильм, и решил на время остаться там. Коридор по-питерски был соединен с кухней, но несмотря на это, а также на совет матери ребенка, мастер снял обувь.

– Кто у нас тут? – сказал седой мастер в очках с незапоминающимся лицом и уверенно направился к стиралке.

– Она постоянно течет. Иногда ни с того ни с сего перестает работать, – стала жаловаться мать ребенка.

– По-осмо-отрим. – Мастер сел на корточки перед стиралкой и расстегнул сумку с инструментами.

– Белье до конца не выжимает! – добавляла мать ребенка накопившиеся претензии. – Тупит!

– Сколько она уже у вас? – Мастер нежно провел ладонью по белой поверхности стиралки.

В этом доме никто к ней так не прикасался.

– Ну, с нами она уже год, а до этого здесь жили другие люди, так что я не знаю.

– Старенькая уже, – даже не оглядываясь в сторону матери ребенка, продолжал нежно гладить стиралку мастер. – Давай посмотрим, что у тебя внутри.

Если кто-то и нашел себя в этой жизни на сто процентов, так это был тот мастер. Думаю, если бы ему не платили деньги за ремонт стиральных машин, он трудился бы бесплатно. Жил бы на пенсию и ходил гладить чужие стиралки. Его супруга вряд ли была бы против, давно смирившись с приоритетами, которые расставил не в ее пользу больной на всю голову муж.

Стало немного жаль, что я не сломан и ко мне не пришел такой же добрый мастер чайников, впрочем, я слышал, что чайники не ремонтируют. Чайники сразу выкидывают, а еще называют ими глупых людей, что еще обиднее.

Глава семьи вышел из комнаты, откуда раздавалось «Три кота, три кота! Два кота и одна кошечка. Мяу!».

- Здравствуйте! – бодро поздоровался он с копошащимся мастером и подмигнул матери ребенка – неплохо, мол, помирились.
- Здравствуйте, – равнодушно и в тон ответил мастер, запуская голову в чрево стиралки.  
Белая крышка уже аккуратно лежала на полу.
- Как она там? – без явного интереса спросил глава семьи.
- Ну вот вам сколько лет, молодой человек? – не высовывая головы, спросил увлеченный процессом мастер.
- Двадцать семь.
- Ну эта старушка ненамного вас моложе. Ее невыгодно ремонтировать, легче новую взять.
- И что делать?
- Говорю же, искать новую, – наконец достав голову, на выдохе произнес мастер и, подняв с пола белую крышку, начал ее закручивать.
- Да уж. Сколько мы вам должны?
- За вызов я беру семьсот рублей, – попытался включить стиралку мастер. – Опа-на! Она совсем перестала работать.
- Вы ускорили ее смерть? – как можно деликатнее спросила мастера мать ребенка.
- Вообще не надо было ее вскрывать. – Мастер начал заново откручивать белую крышку.
- А ведь именно в ней ты постирала мой паспорт, – обратился к матери ребенка глава семьи и достал из холодильника початую бутылку водки, чтобы, видимо, начать поминать стиралку.
- Да, а я так часто забывала в одежде монеты, что эта стиралка могла бы считать себя машиной по отмыванию денег, – под одобрительную улыбку главы семьи пошутила мать ребенка.  
Мастер, что-то бормоча, возился с отверткой в чреве стиралки. Мать ребенка не присоединилась к поминкам, которые устроил, не дождавшись ухода мастера, глава семьи, и решила еще раз выпить чаю. Меня опять включили.
- Я, кажется, понял, в чем дело, – подал голос мастер.  
«Да ладно!» – изобразил губами глава семьи, наливая вторую рюмку.
- Может, присоединитесь? – сказал он в сторону мастера.
- Нет, мне еще на один заказ идти. – Он второй раз закручивал белую крышку.
- Не хочешь, любовька? – тогда он обратился к матери ребенка.  
«Позже», – мать ребенка тоже перешла на немой язык.

Мастер еще несколько раз пытался воскресить стиралку, но безуспешно.

– Да бог с ней, – сказал глава семьи и протянул вспотевшему и грустному мастеру семьсот рублей.

Не спросив рожок, мастер с усилием натянул ботинки, и мать ребенка закрыла за ним дверь.

– Мы, кажется, кое-что не закончили, – сказал порозовевший глава семьи.

– Что же это?

– Включи «Три кота» – и узнаешь.

Судя по тишине в соседней комнате, ребенок ткнул на пульте красную кнопку и теперь пытался вернуть мультяшного котика.

Я уже было смирился с потерей своей горемычной подружки, но на следующий день ребенок как ни в чем не бывало начал крутить ее белый мозжечок. Стиралка не смогла долго притворяться мертвой и запустилась. Детей, говорят, не обманешь.



# ТИХО, МИРНО И СПОКОЙНО



СЕРГЕЙ НУБРИН  
Родился в 1991 году в Пензенской области. По образованию юрист, работает следователем. Публикации в толстых литературных журналах («Урал», «Волга», «Октябрь», «Сибирские огни»), автор книги «Между синим и зеленым» (2019),

лауреат международной литературной премии «Радуга», финалист литературной премии «Лицей».

Оперативник Жарков всегда торопился, но дежурный сказал, что труп без криминала – можно собираться потихоньку. Время полтретьего ночи. Ни туда, ни сюда. В кабинете холодно, батареи в спячке. Покурил в форточку, распечатал протоколы, проверил кобуру. Служебный ПМ глубоко дремал. Тихо, мирно, спокойно. В последнее время оружие применяли только на учебных стрельбах.

«У меня выезд, – написал в ватсапе, – люблю целую». Без запятой.

Тыкнул на стрелку, сообщение улетело. Стрельнуло, будто нажал на спусковой крючок без реальной угрозы. «Ептв...» – зарядил Гоша. Он перепутал чаты и, должно быть, разбудил жену. А нежность была адресована вечно не спящей Аллочке – неродной, но любимой женщине.

– Ну все, теперь точно кранты, – сказал вслух, и дежурный ответил:

– Не каркай. Все под контролем. До утра продержимся, а там новая смена заступит.

Пиликнул телефон.

– Вот, чтд, что и требовалось доказать, – вскипел уставший майор, – вызов прилетел.

Залепетал приветственной речью, открыл журнал учета. Гоша вслушался. Ничего серьезного, какая-то бдительная гражданка сообщила о подозрительных лицах на лестничной площадке. Решили отправить наряд ШПС. Разберутся.

– А мне что? – спросил Гоша, не сводя глаз с яркого экрана смартфона.

– Карета подана вообще-то. Поезжайте, я пока тут...

Прыгнул в «газель» и зарядил коронное «трогай». Ехали на Батайскую. Известная окраина, раздолье беспредела. Водила рассказывал, что в соседний отдел пронесли взрывчатку, а «нарядный» сержантик просмотрел. Якобы учебные мероприятия, но все равно теперь накажут. Еще говорил, что скоро сдавать нормативы по физкультуре и огневой подготовке – никто не справится, и всех лишат ежемесячной надбавки за напряженность.

– Как обычно, – поддакивал Гоша и не расставался с телефоном.

Жена молчала: либо спала, либо строила цепочку размышлений. Он сам переживал. Никогда ведь не отчитывался, куда поехал и поехал ли. А здесь и «люблю», и «целую», ну разве мог такое сказать – жене.

– Кулак, ты женатый? – спросил водителя.

– А то ж, – усмехнулся Кулаков, – уж второй раз, детей – три штуки.

– Вот и мне, по ходу, придется... – не договорил оперативник.

– Детей-то? Дети – хорошо, нормально, – залепетал тот и плавно отошел от темы разговора на встречу очередным служебным проблемам.

Гоша кивнул, хотя говорил не про детей, а про второй раз. Наступит утро, вернется домой и, конечно, супруга скажет – развод, не обсуждается. Жить в одиночку не сможет, пробовал – не получилось. Придется Аллочке делать предложение. Аллочка, может, и красивая, и вся такая невозможная, но жениться... это значит видеться каждый день, объясняться, чувствовать, терпеть.

Он понял, что несправедливо попал в известную западню. Рано или поздно любая ложь становится самой обычной правдой, синонимом жизни.

– Какой номер? – спросил водитель, двигаясь по ошибочным указателям навигатора.

Нашли быстро. Самый невзрачный одноэтажный шведский домик. Их уже встречала маленькая женщина в большом шалевом платке. Она приветственно махала рукой и будто бы специально горбилась, прикладывая к пояснице старую морщинистую ладонь. Легче передвигаться. Гоша тоже, прыгнув, хватился за спину. Так ныла в последнее время поясница, хоть вешайся. В ведомственной поликлинике сказали, можно взять больничный, со спиной лучше не шутить, но Гоша постоянно временил, завтра-послезавтра, на следующей неделе, после Нового года... теперь вот, наверное, самое время, потому что жена обязательно выгонит. К Аллочке нельзя – она с подругой снимает комнату, и вообще...

– Проходите-проходите, – лепетала женщина. – Там он, в комнате. Я, как вернулась с рынка, так и осталась. Умер мой Ванечка, столько лет мы с ним... Я сразу вам позвонила. А скорая приедет? Хотя зачем теперь скорая, куда его сейчас, дальше-то что?

Гоша вспомнил эту семью: старый алкаш одно время дебоширил на всю улицу, бил жену, гнобил соседей. Потом вроде успокоился – заболел.

Прошел в спальню, задел ткань паутины, разжевал и проглотил. Пахло сырой кислотой, горькой старостью. Ветер уютно купался в пустоте. Голый пол, на стене календарь с обезьяной, дрожащая стрелка часов, уверенное безвременье.

Мужик лежал, отвернувшись, и темнота скрывала его острый нос и подбородок, впалые глаза, еще наполненные прежним. Он попросил хозяйку покинуть комнату, потому как проводится следственное действие и все такое. Женщина виновато подняла руки – сдаюсь, дорогой мой, – и убежала в кухню. Хотела вскипятить чайник, но поняла, что сейчас не время для гостеприимства, лучше действительно поскорее, сделать вид хотя бы. Она мужа любила только первые два года после свадьбы, потом привыкала к нелюбви, притворялась, что любит, дальше проси-

ла уйти, а потом смирилась и просто жила, будто нет ни его, ни ее, и ничего вообще не существует.

– Вот так, – сказал Гоша, – живешь себе, живешь, а потом – бац, и все.

Он описывал в протоколе комнату, расположение предметов, указывал, что на теле умершего отсутствуют какие-либо следы насильственного воздействия. Так-то можно пригласить судебного эксперта, но ведь ничего серьезного. Обычная смерть, все там будем.

На всякий случай тронул тело – холодная каменная глина, огромный бесформенный кусок.

Гоша сделал несколько фотографий, общий вид и кое-какие детали: наклон головы, направление рук и ног. Камера смартфона неохотно искала фокус, слабый свет заставил включить вспышку. Ослепило, щелкнуло, застыла ретушь картинки.

– Сойдет, – сказал оперативник.

Труп согласился, промолчал.

Прохрустело в люстре, вдохнула напоследок лампочка, и стало совсем темно. Гоша в принципе закончил, тронул дверь, толкнул, навалился, но выйти из комнаты не получилось. Он задергал ручкой – хоть бы хны, постучал, пнул ногой.

– Эй, женщина. Я тут... дверь закрылась. Але!

Простоял без движения минуту или две, прежде чем хозяйка отозвалась.

– А, да? Что-что? – проскрипела противно и высоко.

– Я говорю, дверь. Кажется, замок пошел. Вы посмотрите там, попробуйте.

– Да, сыночек, сейчас, подожди.

Связь отрубил, дышала одна палочка, интернет показывал букву «Е».

«Епрст», не иначе.

Он сел на край дивана, подложив рабочую папку, и зачем-то поправил одеяло, укрыв голые ступни умершего мужика.

– Такие дела, – говорил вслух Гоша.

Он крикнул, долго ли, что там и как движется, и женщина повторила вновь:

– Обожди, сыночек.

Кажется, стояла она прямо за дверью и не собиралась ничего делать, искать ключ или какую-нибудь проволоку – что угодно, просунь в щель, а дальше-то сам. В какой-то момент расслышал – дышит, стоит и ждет чего-то. Приблизился, дыхание застыло.

– Гражданочка, вы долго тут будете?

Стоило отойти, и вновь пробуждался живой скрежет, ощущение присутствия. Чего там делает. Ждет, ждет, не дождется.

Попробовал окно. Уже подготовились к холодам, прошлись ватой, заклеили бумагой. Дернуть бы – и на улицу, да жалко. Труд какой-никакой.

Тогда все-таки зацепил колышки связи и набрал водителю.

«Дребедень какая-то. Зайди-ка, меня, кажись, замуровали».

Кулаков неразборчиво прохрипел сквозь слабый сигнал. Вот уже постучался, громыхнул металл забора. Не захочешь – услышишь.

Гоша оценил прочность двери. Дощатая ставенка на двух петлях. Была не была. Разбежался, насколько позволяло пространство, выставил плечо, направил ногу. Боль ударила в спину, застонала коленка.

– Ах, дорогой мой, милый, – залепетала старуха, – да ты зачем? Да я же сейчас.

Она смотрела сверху. Платок слетел, глаза перевернуты, руки потянулись к его лицу, и, когда приблизились максимально, женщина сжала кулаки и опять затряслась в истерике.

– Вы меня простите, вы только не осуждайте.

Завыла, застонала. Гоша поднялся, весь в пылевой стружке, с прозревшей дыркой на рукаве бушлата. Хозяйка отошла, измерила безопасную дистанцию.

– Я вас прошу, товарищ полицейский, не наказывайте. Я не смогу молчать, тяжко. Он сам виноват. Житья с ним никакого. Вот, что теперь делать, – махнула и разрыдалась. На этот раз плакала глухо, старчески тяжело. – Ненавижу, – булькнула сопливо и слезливо.

Нет сомнений. Гоша спросил, каким именно образом.

– Таблетки размешала и водкой разбавила. А ему нельзя вообще. Вот и улетел. Да и пусть летит. Что мне теперь будет? – спросила.

Оперативник замолчал и отвернулся. Он слышал, как настойчиво стучит в забор водитель. Упрямый до тупости. В прихожей стойко держалась связь, да говорить не о чем.

– Мы ведь раньше хорошо жили... тогда еще, давно. Я не помню, когда. И дети у нас, и внуки. Ой, Божечки. А дети узнают? Вы им расскажете? Меня же посадят, да? Узнают, конечно. Позор-то какой, Господи, прости. Да зачем я – ну, нашло. Я же не хотела, да ладно... хотела, конечно. А уж он, как выпил, я поняла – зря. И так бы скоро умер – больной же, осталось-то два понедельника. А мне что, ну не могу, не могла больше. Ну, честное слово.

Гоша неуверенно держал меж пальцев шариковую ручку. Он сходил за папкой в комнату, где лежал

несвоевременно ушедший, достал бланки и вроде бы принялся что-то протоколировать – то, после чего обязательно необходимо указать «с моих слов записано верно и мною прочитано», но так настойчиво бился в дом Кулак, что хозяйка не выдержала и открыла.

– Поехали давай, – раскричался полицейский, влетев без спроса и приглашения, – у нас там бытовуха, тяжкие телесные. Дежурка до тебя дозвониться не может. По громкой передали, опоздаем – нам хана, в любом случае – хана. Поехали, поехали.

Сказал, что вернется позже, а пока... сидите и ничего не трогайте. Женщина кивнула и вновь укуталась в свою тяжелую кольчужную шаль.

Гоша почти не слушал напарника и только следил, как убегает из-под колес «газели» худая осенняя дорога. Брызгами кидалась щебенка, ветки старых деревьев неприятно царапали по крыше, и так же заметно скрипело где-то внутри, под форменной курткой и свитером с вышитым двуглавым орлом.

Пролистал список пропущенных: «дежурка», «дежурка-2», «дежурная часть», «работа». Жена молчала. Гоша не любил молчание. Он был готов слушать крик и ругань, череду претензий и, может быть, не очень обидных оскорблений. Если же молчит, значит, все по-настоящему плохо. Нет никаких причин выяснять отношения, все умерло, родилась невозможно долгая, издевательская тишина.

– Ну и что? Вон – дом, иди. Мне машину покидать нельзя, я уже нарушил инструкцию.

Оперативник хотел срифмовать, но, вздохнув только, направился на очередное место происшествия.

Во дворе толпились постовые сержанты. Гоша терпеливо поздоровался, протянув каждому руку. Прежде чем узнал детали произошедшего, разглядел у порога нож, мирно лежащий в свежей лужице красно-бурого цвета, и многозначительно произнес: «Дела, дела...»

Дверь была открыта, первый этаж сегодня не спал.

– А мы завтра пойдем в школу? – спросил мальчик, когда Гоша прошел в квартиру.

Молодая совсем девушка ответила, что уроки никто не отменял, и едва кивнула, так она обозначила приветствие. Видимо, столько сотрудников приходило за последний час, что он – руководитель оперативной группы – не вызвал никакого особенного интереса. Только мальчик восторженно пристроился рядом и поинтересовался, настоящий ли пистолет.

- Мама, мама, у дяди настоящий пистолет.
- Хорошо, – согласилась девушка, – не мешай. Иди умывайся, спать пора.

Мальчик протянул «ну-у-у». Гоша в принципе не возражал против присутствия ребенка, разве что стоило оградить того от участия в следственных действиях.

- Вы только мамку мою не забирайте, – попросил мальчик и, схватив зубную щетку, выбежал в пространство коридорного холода.

Вся общага шепталась. Пока оперативник осматривал кухню и санузел в поисках возможных предметов, которые имели бы процессуальное значение, получил целый перечень версий: от покушения на убийство до причинения телесных повреждений по неосторожности.

- Это пусть следователь разбирается, – улыбнулся Гоша.
- Она сама его, сама. Та еще девчуля, – шептала толстая неприятная женщина с явными признаками затянувшегося перегара.
- Не парься, командир, – твердо настаивал пьянущий сосед, – баба хорошая, так уж получилось.

Гоша внимательно слушал. По крайней мере, делал вид. Повторял за собеседником, задавал невнятные вопросы на уровне «да ладно», «не может быть» и «как же так». Тощие перекрытия, прогнивший пол, сколько раз за годы службы он видел подобные коммуналки, сколько здесь крови разливалось.

- Начальник, – раскинул руки известный бедолага по кличке Жук, – здоров, ты как вообще? Ты к Людке, что ли? А-а-а, – понимающе кивнул тот, – ну, занимайся, я тут ни при чем.

Людка невольно слышала каждую реплику. Комнаты на общей кухне располагались так тесно, что захочешь поймать тишину – не получится. Он вернулся на протокольный разговор, отказавшись от чая и кофе.

- Брезгуете, наверное, – догадалась Люда.
- Да, – растерялся оперативник, – нет, конечно, о чем вы говорите.
- Ладно уж, я все понимаю.

Люда и впрямь понимала чуть больше, чем требовалось. Не стоило объяснять, что все равно придется нести ответственность, преступление – тяжкое, не выкрутишься. Она только сказала:

- Довел, понимаете. Не могу больше. Ребенка жалко, а его – нет.
- Ребенок – смягчающее обстоятельство, – произнес Гоша, не выдав сочувствия.

Мальчик прервал разговор. Вбежав на радостях в комнату, он прыгнул в кровать и укрылся одеялом.

- Спать так спать, – игриво пропищал, – спокойной ночи.

Люда выключила свет, они переместились в кухню, где еще доживали прежний день соседи – курили, пили, говорили о чем-то непременно важном.

- Освободите, – строго сказал Гоша.

И мужики без разговоров покинули помещение.

Говорила свободно, без оправданий. Руки распускал, пил, сыном не занимался. Сегодня вернулся готовый, назвал как-то. Надо было терпеть, столько лет терпела. Психанула, нож взяла, и все тут.

- Есть у вас сигарета? – спросила Люда, и Гоша незамедлительно достал пачку.

Замолчали. Оперативник заметил, что иногда тишина вполне уместна. Выкурил две, прежде чем достал бумагу и попросил изложить обстоятельства произошедшего. Девушка аккуратно исписала целый лист. По совету полицейского добавила, что признается «чистосердечно, в целях оказания содействия следствию».

- Понимаете, – оправдывался за чем-то Гоша, – дело все равно возбудят. Закон такой.

- Я понимаю, понимаю. Много дадут?

- Главное, чтобы выжил.

- Он-то? Выживет. Такие не дохнут, – сказала Люда и вновь посмотрела на пачку.

Гоша кивнул, подышал недолго табачным дымом и попрощался.

По дороге в больницу даже не заглянул в телефон, даже не включил экран, даже не подумал ни о чем личном.

Жизнь действительно любила потерпевшего. Врачи сказали на своем волшебном языке: «Пневмоторакс, гематомы, как обычно».

- Как обычно, – согласился Гоша, – тяжкий вред. Ничего серьезного.

Пустили на десять минут под единственным предлогом, что расследование требует незамедлительных мероприятий. Медсестра не понимала, о чем таком важном говорит оперативник. Просто он вызывал интерес у женщин любого возраста и мог, наверное, вообще ничего не объяснять.

Долго всматривался в лицо пострадавшего. Обычный пьющий мужик, работага с босяцкой шетиной. Спросил, как случилось. Подтвердил показания супруги. Говорил с трудом, каждое слово эхом пронзало грудь.

- Может, сам напоролся на острие? Случайно. Бывает же всякое.

- Случайно? Сам? – Мужчина попытался выдать смешок и хватился за бок.

– Да, – повторил оперативник, – не заметил и наткнулся.

– Ты что тут гонишь?

Гоша нагнулся, чтобы терпила расслышал и запомнил навernityя.

– Бухать заканчивай, вот что. Налакаешься, потом виноватых ищешь.

– Я понял, – прохрипел мужик, – она и тебя охмурила. Шлюха! Много взяла? Или ментам бесплатно?

Ничего живого не осталось в живом теле. Затянется порез, только и всего.

– Я эту мразь, шалаву эту, засажу. И тебе хана, мусор. Напишу куда надо. У меня знакомые везде! – кричал на всю палату.

Духота разливалась бездушием.

– А ребенок? – спросил Гоша, но мужик не ответил. Может, и не спросил на самом деле: ответа испугался.

Дежурная «газель» медленно плыла по пустым дорогам. Ночь сдавалась, утро не хотело просыпаться. Горело небо бессмертным солнцем, сквозь тяжелую смоляную гуашь проступало красным и золотым.

– Теперь куда? Все? На базу?

Проезжали по Батайской, мимо дома с ночным трупом. Волнительно горел свет сразу во всех окнах. Гоша думал остановиться, зайти и доработать материал, доложить, по крайней мере, в управление о совершенном убийстве. Так ведь это называется? Убийство же? Или что?

Водитель без подозрений свернул, умчал по прямой.

– Вон там, в посадках останови, – попросил оперативник.

– Невтерпеж? В отделе, может, сходишь? – предложил Кулаков.

– Останови.

Машина заняла обочину, заморгала нервно аварийка. Гоша неторопливо скрылся в голых тупиковых кустах.

«Приспичило ему», – думал.

Кулак в принципе умел ждать, пока следственная группа часами работает на месте преступления. Он обычно залипал в киношку на планшете или играл в телефон, чтобы ускорить время. Но сегодня получилась слишком длинная ночь с просмотренным до титров сериалом и попытками выйти на следующий уровень в битве с виртуальными монстрами. Опять застрекотали дурные мысли. Завтра же, то есть сегодня, надо тренироваться. Турник, пробежка. Если не сдаст итоговую аттестацию по физподготовке,

лишат на полгода процентной надбавки, а семь тысяч на дороге не валяются. Тогда опять придется таксовать по ночам, и не приведи бог, если вызов поступит от начальника или штабного управленца – донесут, заложат, уволят на хрен. А ведь еще огневая. На стрельбах Кулаков почти всегда выбивал три из четырех, но не укладывался в норматив по сборке-разборке автомата. Советовали развивать мелкую моторику и не особо нервничать.

Конечно, вам-то легко говорить, а у меня – семья.

Он представил, как выйдет на огневой рубеж и по команде достанет оружие. Все легко и просто, главное, не торопиться. Раз-два-три, и...

Подорвались невидимые птицы, словно извергла их старая земля. В тревожном карканье, гуле, свистении Куликов распознал звук выстрела. Один понятный и объяснимый звук.

– Гошан! Ты чего?! – Он рванул с единственной мыслью: не может быть, не бывает, не должно.

Оперативник лежал на земле, вывернув неприятно голову. Пистолет еще крепко сжимала рука. Опять стояла тишина, и должно было что-то обязательно произойти.

– Ты чего?! Гошик! Ты?

Оперативник смотрел и улыбался.

– У меня в сейфе есть патроны, – сказал Гоша, – все нормально, извини. Устал я что-то. Ну, честное слово.

\* \* \*

Утром жена прочитала сообщение. Может быть, она и удивилась внезапной нежности. Может, женское чутье накрутило что-то там. Ничего не сказала, мирно копошилась в кухне. Гоша отдыхал после дежурства. Мягкий диван трогал его больную спину, бормотал приятно телевизор. Дали отопление, тепло заполняло квартиру. Было по-настоящему хорошо.



# МЕТРОПОЛИС

ОЧЕРК



ЭЛЬЗА ХУСАИНОВА,  
СЕРГЕЙ СМИРНОВ  
Эльза Хусаинова окончила  
ВГИН имени С.А. Герасимова  
(мастерская документального  
и научно-популярного фильма).  
Лауреат премии «Сибирские  
огни» в номинации «Новые  
имена». Участник и победитель  
русских кинофестивалей.

Сергей Смирнов окончил  
Московский железнодорож-  
ный техникум. Сценарист  
документального кино.  
Лауреат литературного  
конкурса маринистини  
имени Константина Бади-  
гина. Участник и победитель  
русских кинофестива-  
лей.

1.

Вечером иду снимать ежемесячные показания приборов учета электроэнергии. Обхожу всю территорию обувной фабрики.

Первым на пути встречается неприметное строение, притулившееся среди таких же подобных. От двери идет подозрительный, легкий и манящий кондитерский запах. Но на самой двери висит здоровенный амбарный замок. Подергал дверь, погромел сильнее. Без ответа. В помощь рация. Доложил по команде. Путем сложных долгих переговоров через менеджера по размещению рабочих, который, видимо, знает заклинание Али-Бабы «сим-сим, откройся!», вход в колдовскую пещеру с едва уловимыми благовониями и воображаемыми сокровищами для меня все же открыт. Восток – дело тонкое. Непрístupная дверь поддается, приоткрывается, оттуда из темноты на меня недоверчиво выглядывает смуглое морщинистое личико. И придирчиво всматривается своими блестящими глазками-маслинами. «Азербайджанец, наверное», – подумалось мне. «Старик Хоттабыч», – почудилось мне. Точно он! Я будто в сказку попал, в свое детство. Старичок-джинн, выдергивая волосок из седенькой бороды, пробормотал что-то вроде «трах-тибидох» и пригласил меня в арабскую пещеру.

Долго ведут какими-то лабиринтами. Неужели «на край земного диска» к «золотоносным муравьям, каждый из которых величиной почти с собаку»? То и дело натякаюсь на какие-то углы, оскользаюсь, оступаюсь. Надо мной низкий сводчатый потолок, который то и дело задеваю затылком. С него мне за шиворот и на макушку что-то капает. По бокам такие же сырые и шершавые стены, за которые приходится держаться, чтобы ненароком не свернуть себе с выщербленных ступеней шею. Наверяд ли кто-то обеспокоится и начнет искать меня здесь. Так и останусь навечно и заживо погребенным лежать в этой крошечной тьме. Ориентироваться и жить здесь могут только кроты или джины.

Впереди наконец замаячил свет. Все слышнее из подвальных глубин мерное постукивание, бряцание чего-то стеклянного, озабоченное пыхтение компрессора и невнятное бормотание... Я, конечно, не лингвист, но этот язык не похож ни на один из языков бывших братских народов. И я не ошибся. Это оказались сирийцы. В тесной низенькой комнате сидят они друг к другу спиной и колдуют у маленьких станочков, совсем как какие-нибудь подземные гномы. А на станочках разная тара причудливых форм и расцветок. Даже фирменные флаконы «Шанель» присутствуют... Все парфюмерные бренды мира собрались в этой богом забытой собачьей конуре.

«Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице», – вспоминаю слова незабвенного Остапа Бендера. У нас, конечно, не Одесса, а Москва. Но в данном конкретном месте пахнет диковинно, загранично, как в Париже или Нью-Йорке: ароматы шафрана, левкоя, мускатного ореха, шоколада, цитрусовых, благородной розы...

Не стоит обольщаться. Достаточно поглядеть, в каких условиях работает здешний народ. Молодые ребята на цементном полу смешивают в ведрах и флягах разноцветные пахучие жидкости, через воронку заливают их в шприц-дозаторы станков, под которые ставят красивые пузырьки, аккуратно наполняют, закручивают пробкой, упаковывают в яркие коробочки... И все это «вонючее дело» назавтра осядет в столичных бутиках, а затем на тонких, изящных запястьях и холеных белых шейках милых дам.

- Чего дома-то не сидится? – закончив с показаниями, привычно спрашиваю у Хоттабыча, кажется, единственного более или менее понимающего мою речь.
- Э-э, – снова хватается тот за бороду и на ломаном русском объясняет: – А как поедешь домой, если ваши с американцами дерутся за нашу нефть.
- Наши защищают вас от ИГИЛ, – удивляюсь я и пробую заступиться.
- Какой у нас ИГИЛ? – качает тот головой, и на глаза его наворачиваются настоящие слезы. – У нас нефть.

Выбираюсь от сирийцев как из черной ямы, отряхиваюсь, долго привыкаю к свету, на ярком закате шурясь, осматриваюсь, отмаргиваюсь, выдыхая из себя все запахи, пропитавшие одежду, кожу и даже засевшие плотно в носу.

Иду дальше.

- Добрый вечер, Саид! – приветствую сидящего на транспортной эстакаде еще одного старика.
- Здравствуй, дорогой, – ласково пропел дедушка Саид, склонив вперед бритую голову в тюбетейке и прижав по-восточному ладонь к груди.

Второй рукой держит пиалу с горячим чаем и расслабленно отпивает из нее. И все это в окружении комнатных цветов и клеток с поющими канарейками. Оазис! Эдем! Еще один осколок, вернее, обрывок восточной сказки, которую читал в детстве. Помню из того же детства, как мама водила меня в «Детский мир» на Дзержинке за школьной формой, за которой нужно было выстоять два пролета в очереди с девочками и мальчиками со всего Союза. Иногда попадались очень редкие и интерес-

Молодые ребята на цементном полу смешивают в ведрах и флягах разноцветные пахучие жидкости, через воронку заливают их в шприц-дозаторы станков, под которые ставят красивые пузырьки, аккуратно наполняют, закручивают пробкой, упаковывают в яркие коробочки.

ные родители: мамы в туркменских халатах, шароварах, усатые папы в огромных кепках... Вокруг них и по всем этажам шумно бегали их непоседливые черноглазые детки. Было жарко, но эти папы свои парадные пиджаки не снимали, а закидывали руки за спину, обнажая неспортивные волосатые животы и обмахиваясь кепками, а их терпеливые жены заглядывали им в глаза. Мне тогда казалось, что таких мам и пап не бывает.

Но оказалось, все бывает. И дедушка Саид только с виду добрый сказочный персонаж. Стариковская ласковость его показушная, временная. На самом деле это суровый, коренастый, закаленный невзгодами бригадир отряда молодых узбеков в мелкооптовой фирме, арендующей склады нашей бывшей обувной фабрики. Его гибкие легкие пацаны-грузчики, как скальные ящерицы, ловко и быстро лазают по ящикам да коробкам, днем и ночью разгружая фуры... От этих вездесущих коробок, громоздящихся друг на друга, деваться некуда. Загораживают электросчетчики, мешают работать.

Поэтому я не просто так здороваюсь с Саидом. Прошу убрать эти коробки. Он с готовностью, вытерев бритую голову платком и отставив в сторону цветастую пиалу, кричит куда-то в глубину склада. Тут же его шустрые ребята раскидывают коробки. И летят они в разные стороны. Вечером эти пацаны

ополоснутся, чуть надушатся, наденут свои курточки из кождама и всегда начищенные до блеска ботиночки. И выйдут в город смотреть на красивые дома и автомобили. Поодиночке они не ходят.

Дедушка Саид рад, что угодил. Значит, в следующий раз, полагает он, я ему помогу. На чужой земле лучше дружить со всеми. Предлагает угостить чаем.

В прошлый раз я сам к ним напросился. Его жена Гузель обещала испечь аппетитные пышные лепешки. И сегодня вечером, когда всё успокоилось и все разошлись, я снова решил заглянуть к ним на огонек.

Узбекский бригадир Саид, а когда-то прапорщик советской армии, живет, как шведский Карлсон, на чердаке. На чердаке технического этажа лабораторного корпуса. Раньше я думал, что к нам едет один сброд, который на своей родине не пригодился. Однако ж в поисках лучшей доли, как когда-то в 1917 году из России в Европу, к нам валит весь цвет нации Востока: учителя, врачи, юристы, офицеры... Те, кто умудрился получить хорошее образование, но при этом не сумел найти работу. Но там революции нет. И не будет. Не знаю, жажнет ли у нас опять... Сидим как на пороховой бочке.

Раньше на чердаке было очень шумно от работающих вентиляторов в громадных стальных улитках. Теперь Саид с женой подмели тут, перегородились ящиками, что-то постелили, и образовалась уютная каморка. Гастеры все дыры на фабрике заняли.

– Заходи, дорогой, – приглашает дедушка Саид и жмет мне крепко руку, – садись.

Я привычно уселся в сломанное офисное кресло. Гузель на фанерном столе расставила узорчатые пиалы. Появился маленький пузатый чайник, конфеты, орехи... И мои лепешки! Целая гора лепешек завернута в чистое полотенце. Я попробовал. Вкусно!

Выхожу от них сытый, довольный. Но тут же портится настроение. Передо мной наша фабричная так называемая улица Горького, Пешков-стрит. Такая же прямая, как стрела. Правда, наша разбита большегрузами – ямы да ухабы. И образована не рядами купеческих и дворянских особняков, а полуразвалившимися фабричными корпусами.

И какая же «улица Горького» без праздной толчеи? Под вечер сюда высыпается местный подпольный народ. Там и сям мелькают узорные тюбетейки, шелковые, в цветочек и полоску, халаты... Румяные хохлушечки внушительных размеров в облегающих леггинсах неспешно прогуливаются туда-сюда, как по Крещатику. Представители Поднебесной тоже здесь. Днем они торгуют мелким оптом (удочками),

а теплыми вечерами, нащипав одуванчиков на пустире, отваривают их и заправляют с селедкой. Вомяет от их еды жутко! Тут же, неподалеку, настоящие кавказские мужчины жарят шашлык из баранины. Их упитанные женщины на лавках и ящиках громко ведут светские беседы, перебивают друг друга, лужагут семечки и сплевывают себе под ноги... Иногда тархтят мотоциклы, проносятся мимо меня на огромной скорости.

Рядом с развалинами фонтана под одичавшими яблонями и трухлявыми тополями играет в футбол ребятня всех собранных национальностей. Сотрудники арендующей фирмы «Свадебные платья» соорудили неплохую площадку для родившихся здесь детей. Кто на велосипеде катается, кого еще пока в колясках возят... У Окуджавы – Арбат, у Высоцкого – Большой Каретный, у Пушкина – Лицей. Атмосфера какой улицы или какого места окажет влияние на этих детей?

Лично я в такие вечера стараюсь не выходить из дежурного помещения. И закрываю дверь на широкий засов. А окна, чтобы не проникал дым от многочисленных мангалов с мясом, запираю на шпингалеты, задергиваю занавески... В такие вечера хозяева они! Целый анклав, приютившийся за кирпичной фабричной стеной. Хочется, чтобы всех «вавилонских жителей» унесло ветром.

И моим мыслям сегодня суждено сбыться. По «княжеству» разносится почти морская тревога «Полундра! Свистать всех наверх!». Со стороны въезда без предупреждения, как снег на голову, через поднятый шлагбаум вкатывается пазик. За задернутыми занавесками – отряд ОМОН. Очередной внеплановый рейд, облава миграционной службы. Сотрудники тут же блокируют все входы и выходы. Но «местные» умудряются просочиться как вода сквозь пальцы. Вся «улица Горького» мгновенно пустеет. Народ врассыпную, как мыши и тараканы, забился по своим норам и щелям.

В такие часы наш удельный князь, гендиректор Фарид, носа из кабинета не кажет. Меланхолично наблюдает за происходящим по монитору, куда со всех камер поступает изображение. Или вдруг залезет в свою светлую «камри», запрется в ней и сидит, будто его не касается, будто мимо проходил. Фарид – видный из себя, импозантный, холеный, очень уж похожий на Муслима Магомаева. Он осознает свою похожесть, оттого ведет себя еще вальяжнее и представительнее. Привык думать о себе в превосходной степени.

Глядя на него, такой же значимый вид корчит из себя Азамат, даром что живет возле столовой



го потребления, а также обувь для советской армии и флота.

В годы войны фабрика спасала рабочих от голода. Ведь сюда для выделки тонкой кожи для генеральских фасонистых сапог привозили натуральный коньяк, куриные яйца, квасцы... С сырых и свежих, еще кровоточащих свиных и коровьих шкур соскабливали для бульона мездру (драгоценные кусочки сала) и варили похлебку...

Хвойные медленно растут. Такова природа этого дерева. Ели, которые в дни майской Победы посадили за проходной, рядом с обелиском, выросли высокими и стройными. Рабочие, проходя мимо памятника и елей, каждый раз вспоминали про себя тех, кого когда-то знали, кто ушел тогда добровольцем или не имевшим брони. На всех четырех сторонах (я раньше видел только на одной) этого черного гранитного прямоугольника фамилии тех, кто не вернулся.

Последний старожил, ветеран всех собачьих войн – сторожевой пес Кузя. Он за всю свою жизнь не видал такого! Что это? Конец света! Мимо, в нескольких метрах от его маленькой конуры, проносятся громадные трехосные германские МАНы, доверху груженные металлом и битым кирпичом. Искоренные, разрезанные газовой горелкой стальные балки охапками забрасывают в эти огромные самосвалы. Закрученные, словно тетрадные листы, остатки кровельного буро-ржавого железа с оглушительным грохотом опрокидывают туда же, в глубокую яму кузова...

Раньше Кузя выдерживал все. Зимой, сворачиваясь калачиком, закрывал мохнатым бочком вход в конуру, чтобы ветром не заметало снег в его жилище. А летом, в невыносимую жару, залезал на крышу собственной будки и в позе пограничного пса с фарфоровой статуэтки шестидесятых годов, свесив отяжелевшие широкие лапы, осоловело таращился вокруг.

Я дразнил его:

– Кузя, кошка!

Он всегда верил. Мгновенно поднимал уши, вскакивал, угрожающе гремел цепью, выскивал цепким, охотничьим взглядом своих вековых врагов, эти вражьи усатые морды... Ненавистные и непрощенные кошки, ночные звуки и запахи – все, чем жил и дожил Кузя, к чему привык, вмиг ушло. Ничего не осталось. Все сровнялось с землей. Мир его сровнялся с землей. Голая равнина. Пусто и тоскливо.

Половина выживших кошек (тех, кого не передавил стальной красный монстр), цепenea от ужаса, сиротливо жмутся возле шлагбаума. Дожидаются

свою негласную хозяйшку Маргариту (или мать Терезу, или мадам Брошкину, как ее называют чоповцы) с доверху наполненными сумками, от которых всегда пахнет вкусной едой. В своей будочке на проходной мадам Брошкина с высокой прической и королевским достоинством принимает подотчетную мзду за въезд автотранспорта на территорию. Она плотно питается, сильно красится, пестро одевается. И в душе ее много человечьей и бабской жалости, особенно к помойным котам и мужикам. По доброте душевной собирает вокруг себя болезных и непригодившихся. Но животные, в отличие от людей, твари благодарные. Эта городская сумасшедшая кормит кошачью братию на свои кровные. Еду готовит дома загодя. И выкладывает в определенных местах. На завтрак, обед и ужин – первое, второе, третье. На десерт свежее молочко в блюдечках. А компот?

Кузю тоже не забывает. Но теперь у Кузи пропал аппетит. Ведь такая жара еще на несколько недель установилась! Кузя ничего не понимает. В ожидании неумолимо страшного свернулся в конуре калачиком. Выходить наотрез отказывается. Изредка жалобно повизгивает. В этом положении, уткнув сухой горячий нос в собственную рыжую шерсть, в один из дней так и затих навсегда. Ушел на вечный собачий покой. Не выдержала живая душа. Единственно настоящая душа этого бывшего фабричного пространства, ее выразительная суть, родившаяся еще щенком. Смерть его, по правде сказать, милосердная, своевременная. Ну, куда бы подевали эту казенную, но, по сути, никому не нужную псину пенсионного возраста после всей этой глобальной зачистки? На такую же помойку, как и строительный мусор. Пошел бы куда-нибудь побираться и через неделю умер бы от голода или чего угодно...

В большом городе и в большом мире запросто пропасть – дело нехитрое.



# АКТ ВАРЕНИЯ



ВАЛЕРИЯ НРУТОВА

Родилась в 1988 году. Получила юридическое образование, работает специалистом по информационной безопасности.

Участник 18-го и 19-го Форумов молодых писателей, организованных Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ.

– Что ты творишь? Ты варишь? Варенье варишь? Конца и края твоему варенью нет. Кто его есть будет?!

А мне кажется, мама его для того и варила, чтобы сидеть у плиты и на багровую пену смотреть. И если бы не вишня, всплывающая на поверхность, можно было бы подумать, что в тазу не сироп, а кровь. Интересно, пенится ли кровь, когда кипит?

Варенье было давно. И компот тоже. Мама однажды перестала закатывать банки.

И ничего, что я об этом рассказываю, если я в этом и виновата? Ничего? Ничего я тогда даже сказать не могла. Говорить начала поздно, почти в четыре года. А случилось это, когда мне было три.

Это... будто интригую. На самом деле я просто не знаю, как назвать свой поступок.

Так вот, мне было три года. И маме было три года – три безвылазных из декрета года. В тот день она оставила меня с папой и ушла на рынок. Глотнуть свободы. А заодно купить помидоров, огурцов, билет в один конец, куда-нибудь подальше... Овощи взяла, а вот билетов не было, поэтому мама вернулась домой и, как бы это ни было пошло, ахнула. Хотя, полагаю, что «ах» состоял из букв «я», «л», «б». Спасительное сочетание звуков на все случаи жизни.

Я – трехлетняя – сидела у батареи из трехлитровых банок с персиковым компотом. В крышку каждой банки был вбит гвоздь.

Где я нашла молоток, как умудрилась не расколотить банки и голову себе заодно, папа не знал. Папа спал.

Сейчас уже без смеха не вспомнить, а тогда мама перестала катать.

А вот в двадцать пять я увидела кровь варенья и захотела сделать свою. Свое. Я представила, как это делала мама, вспомнила переживания бабушки: мол, не варит, не катает, вот были времена. Действительно, вот были. Когда меня не было.

Я купила килограмм вишни и позвонила маме. Та приехала тут же, чтобы уточнить, здорова ли я. Ведь в двадцать пять всем нам нужно только одно – и это не варенье. Это, например, замуж или хотя бы в клуб. Или хотя бы руководителям отдела. Или ребенка. Или процесс «до» ребенка. Акт. Акт творения.

Но меня сейчас интересовал акт варенья. Варения варенья. Красивое название, мягкое и уютное. Варенье – хочется в это слово носом. И уснуть.

– Мало вишни, – сказала мама.

– Куплю еще. А таз гляди какой! – Я принесла из комнаты большой латунный таз.

Нашла его накануне утром на блошином рынке. Мне пришлось встать в пять утра, ведь «блошки» работают с шести. И я до сих пор не поняла почему. Утром старые вещи пахнут и выглядят иначе? На восходе дня – восход старины. На закате – видно их трухлявость и усталость?

Непонятно.

Но таз был шикарен. Такой, словно степенный дед, умудренный опытом. Полный памяти и варенья. Памяти о варенье.

– А таз хорош! – подивилась мама.

Я сбегала на угол – к овощнику, купила вишни. Еще шесть кило. Мы перемыли ее с мамой, убрали черенки, листья. Я предложила убрать еще и косточки, но мама сказала, что с ними вкуснее. Кажется, она просто не хотела париться. А я хотела. Хотела испытать весь спектр удовольствий и цветов на перемазанных вишневым соком пальцах. Тем более на «блошке» я купила еще и старую советскую чеснокодавку. Почему у этой штуки нет своего названия?

Так вот, там снизу есть палочка с круглым набалдашником и выемка. Это же специально, чтобы кости у вишни убирать. Но надолго меня не хватило. На три кило хватило. Мама курила в окно и посмеивалась.

Я зажгла две конфорки, поставила на плиту таз, залюбовавшись синими всполохами на золоте, вывалила семь пакетов сахара и добавила воду.

– Ну все, – улыбнулась мама.

– Что все? – Я не поняла.

– Начинается... Теперь пока все не перекаатаешь...

– Слушай, мам. Так я хотела на пару баночек сделать и в холодильник поставить.

– Здесь уже не на пару баночек. – Мама сияла, как латунный таз.

А я кипела, как варенье.

– Так, стоп! Ты же сказала, что мало. Надо еще. Мам!

– А я думала, ты побольше хочешь, чтоб и на зиму. – Мама уже хохотала.

– Но ты же мне поможешь?

– Конечно, я буду рассказывать тебе, что делать. – И она снова закурила.

– В цветок не стряхивай, вон пепельница, – надулась я.

Сахар растворился, я высыпала вишню, дождалась пены, забылась...

– Выключай давай, – вырвала меня из пенного забытья мама.

Процесс, конечно... Я оставила варенье на шесть часов, потом снова закипятила, потом оставила на ночь. А утром снова приехала мама, и мы снова закипятили варенье. Чуть не поругались, правда, из-за банок. Мама хотела, чтобы они были двухлитровыми. А я у бабушки видела только литровые.

– Ну и мудохайся сама, – обиделась мама.

Так я сама и собиралась вроде. Мама же к банкам ни-ни.

Управилась я на удивление быстро для новичка. И банки не побила, и не обожглась, и даже таз не опрокинула на пол, хотя могла. Даже мама удивилась. Я закатала шесть литровых баночек, а седьмую не закатала, закрыла крышкой и убрала в холодильник.

Горячие еще банки завернула в папину старую шубу – ее мама принесла специально для этого дела – и выдохнула.

Хотя нет, еще таз мыть.

Выдохнула уже к вечеру, когда мама ушла. Она ушла довольная, посмеиваясь, мы даже больше положенного обнимались перед дверью.

Моя душа была спокойна: я наварила крови с ягодами, закрыла это все дело как полагается, выложила фото в социальные сети, в чаты скинула, с мамой даже сильно не повздорила в процессе. Идеальный день.

А наутро не удержалась и развернула шубу, чтобы глянуть на свои баночки.

В одну из них был аккуратно вбит гвоздь.





| Юность №2  
Февраль 2020

# НЕФОРМАТ

# ДЕВОЧКА С КИСТОЧКОЙ



АННА ДОЛГАРЕВА  
Родилась в 1988 году в Советском Союзе. Автор четырех книг: «Время ждать» (2007), «Хроники внутреннего сгорания» (2012), «Из осанженного десятилетия» (2015), «Уезжают навсегда» (2016). Член Союза писателей РФ. По профессии журналист,

в 2015–2017 годах работала военным корреспондентом в Донецкой и Луганской народных республиках. Тенсты переведились на немецкий и сербский языки.

Арина говорит:

– Однажды я спросила маму: «Мам, я умру от своей болезни?» Мама ответила: «Все умирают. И никто не знает, когда и от чего. Не нужно на этом заикливаться. Надо ставить себе цель в жизни и к ней стремиться. Жизнь будет ощущаться по-другому».

Кисточка скользит по бумаге, выводит акварельные линии, светлые, красочные. Кисточка скользит по бумаге, тоненькие пальцы держат ее который год, потому что им больше не за что держаться. На бумаге появляется дорога, и розовый закат, и темный лес. Она идет по этому темному лесу все восемнадцать лет своей хрупкой жизни и держится за кисточку, прорисовывая себе дорогу во мраке.

Арине восемнадцать лет. Она худенькая до прозрачности, улыбчивая, невероятно творческая – все время что-то придумывает. То выигрывает конкурсы по рисованию, то варит авторское мыло, то сочиняет двухэтажный стеллаж для морской свинки. И она не может дышать своими дырявыми легкими без кислородных баллонов, потому что у нее муковисцидоз. Болезнь, от которой нельзя вылечиться, – можно только продлить жизнь.

Когда она родилась – в Бишкеке, столице Киргизии, – больше всех радовался братик Коля. На УЗИ еще не могли определить пол ребенка, а он уже знал, что будет сестренка Арина. И сначала было все хорошо – первые полгода. Потом Арина попа-

ла в больницу с пневмонией такой силы, что у нее спаялась верхушка легкого. Подлечили. Выписали. И через пару дней Коля умер.

Всю жизнь ему диагностировали бронхиты. Посмертный диагноз звучал «муковисцидоз». Родители, оба биологи, впервые услышали это слово.

Вскоре у Арины определился порок сердца, в десять месяцев случилась декомпенсация порока. Госпитализировали, понятно было, что надо срочно делать операцию, но... Но летом операции не делают. Кардиоцентр закрывают на профилактику. Да и маленькая Арина была нестабильна, постоянно температура. Вот ее и выписали умирать.

Арина говорит:

– Сказали – до осени, если доживет. Родители увезли меня за город, все время носили на руках, показывали мне просторы, животных, носили на рыбалку. А в начале сентября 2002 года мама пошла к заведующему взрослым отделением кардиоцентра Сейтхану Джошибаеву. Когда-то он спас в детстве мою маму. Она показала все мои обследования, и он сказал: «Если в комнате нет двери, рубить надо хотя бы форточку». Теперь это наш девиз. А операцию сделали через четыре дня после визита.

Но муковисцидоз. Надо было что-то делать, чтобы не потерять Арину так же рано, как ее старшего брата. А в Киргизии в то время даже диагностиро-



↑ Арина, 2013 год

вать муковисцидоз было вообще нигде. Ну вот банально, ни одной лаборатории не осталось после развала СССР. Независимость – такая штука. Съездили в Казахстан, провели потовый тест – это основной метод диагностики муковисцидоза. Ладно, сделать – то сделали, а что дальше – никто не знал. В российское посольство, что ли, обратиться? Так ведь гражданства нет. Ладно, хуже не будет...

И тут добрая фея палочкой махнула, не иначе. Потому что в российском посольстве родителей Арины приняли, выслушали и по программе помощи соотечественникам отправили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Диагностировали муковисцидоз. Подобрали терапию.

Родителям было мучительно страшно, а четырехлетней Арине весело. Она путешествовала по больнице, знакомилась с другими ребятами. Добыла кисточку и краски и начала рисовать. Рисовать понравилось. Кисточка повела ее дальше.

– Здесь я познакомилась с моим первым «профессиональным художником» Майей Сониной. Я стала много рисовать, по-детски, но очень серьезно, – объясняет Арина. Подружились они с Майей не только и не столько из-за рисования: эта женщина – директор фонда «Кислород», помогающего больным муковисцидозом детям, и Арина стала

одной из ее подопечных. Но сама Арина в то время старалась не думать про болезнь. Старалась знакомиться и дружить, рисовать другие миры на альбомной бумаге и просто жить. С пороком сердца, с истончившимися, хрипло дышавшими легкими.

Что еще поделаешь в четыре года.

Возвращаться домой было страшно. В 2005 году в Бишкеке произошла первая весенняя революция. Но – поехали. Родители ребят, с которыми Арина подружилась в РДКБ, помогли собрать лекарств – то сколько мог. И поначалу, казалось, все было в порядке. Арине, по крайней мере, казалось.

– У меня было много друзей, и я с утра до вечера с ними гоняла по улице, лазила по деревьям, каталась на велосипеде. Вот правда и в больницу я попадала частенько, потому что начинала задыхаться и захлебываться мокротой, – говорит она.

Частенько – это одиннадцать раз за два года. Практически раз в два месяца. И помочь врачи особо не могли: в Киргизии Арина была одна с таким диагнозом, подобрать лекарства не получалось. Пришлось ехать в Москву снова. Потом еще раз. Потом врачи сказали: в Киргизии с таким диагнозом жить не получится. Надо переезжать в Россию, где есть врачи, оборудование и лекарства. В Киргизии



↑ Арина Нрятова

тем временем нарастали беспорядки, шел второй этап революции.

Родители метались: куда ехать? Как продать жилье, когда страна на пороге гражданской войны? Ладно, с городом определились: дед по материнской линии приехал как раз из Воронежа. А вот цены на жилье падают пропорционально нестабильности в стране. Киргизию же тогда трепало и лихорадило. Однако в 2009 году удалось избавиться от бишкекской квартиры и переехать в Воронеж. И даже гражданство семья Арины получила не сразу, но вполне успешно.

А Арина все продолжала рисовать. Подала работу на конкурс «Звездная кисточка» – он проводился среди детей, больных муковисцидозом. И выиграла. Эмоции, говорит, захлестывали.

Призом стала поездка в Москву, и Арина была счастлива. Ее водили в Третьяковскую галерею, в галереи Пушкина, Церетели, галерею современного искусства. И этот небольшой человечек с дырчатыми легкими радостно вертел башкой вокруг и мечтал стать настоящим художником. Арине было тринадцать лет, она весила 21 килограмм и была самой счастливой на свете девочкой.

А госпитализации, несмотря на получаемую терапию, начали учащаться. Арина с трудом дышала.

Больное сердце билось с перебойми, вес падал. Но она не собиралась сдаваться. Вообще ни разу.

– И на одной из конференции по муковисцидозу, которая проходила в Воронеже, я взмолилась перед врачами о помощи. Попросила, чтобы мне установили гастростому. Где-то услышала, что за рубежом таким пациентам устанавливают низкопрофильные гастростомы. В России такого опыта нет. Иногда ставили стомы, но длинные и очень неудобные в использовании, – по-взрослому объясняет мне она.

Она говорит, что на ее просьбу откликнулась Ольга Симонова, врач из Национального медицинского центра исследования здоровья детей. Осенью 2014 года она пригласила Арину в свое отделение. И на первом осмотре врачи... заплакали.

– Я была тоща, задыхалась, вся деформирована, серого цвета, – весело рассказывает Арина. – Мне был поставлен диагноз «кахексия», «остеопороз», «изменения со стороны сердца». Все как-то очень было печально и даже страшно. Меня пытались «откормить» через вену. Но особо результат не почувствовали.

И Арине поставили низкопрофильную гастростому – в 2015-м она стала первым ребенком с таким «девайсом». Это такая штука, которая позволяет

вводить питание через дырку в брюшной стенке прямо в желудок. Под одеждой даже незаметно. Зато стало получаться нормально питаться: муковисцидоз бил по всем фронтам и усваивать пищу не позволял. Он и теперь продолжал бить по всем фронтам, но кое-где удавалось налаживать оборону. И Арина, худенький маленький подросток, оборонялась.

После установки стомы стало проще. Арина стала брать уроки рисования у профессиональной художницы. Увлеклась скрапбукингом. Это когда берешь бумагу и наклеиваешь на нее вырезки из открыток, старых книг, рисунков, других мелочей, а в результате появляется произведение искусства. Начала создавать авторское мыло. Мандаринки, елочные игрушки, шишки. Или цветы, яркие по-южному. Выпуклые, причудливые, полупрозрачные творения, не хуже, чем у взрослых, изящные, аккуратные.

Сначала Арина просто делала эти красивые штуки, потому что ей нравилось создавать прекрасное. Потом сарафанное радио разнесло рассказы о ее поделках, к ней начали обращаться с заказами, стали просить, покупать у нее. Она постоянно что-то делала, рисовала, сочиняла руками, побеждала в конкурсах, фотографировала – потому что красота окружающего мира была настолько острой, что требовала немедленного запечатления, хотя бы и камерой телефона.

Она была не просто страдающим ребенком. Она была творцом и рыцарем. А болезнь была чудовищем, которое ей мешало. И Арина по сантиметру пыталась отвоевывать у нее свою жизнь. Рыцарь сражался с чудовищем: доспехи прожжены, дышать нечем, но стоит, не падает. В школу ходить не получалось, иммунитет был убит, и она занималась в дистанционном центре обучения, по пять уроков, как все. Ходила только на линейки: в начале и конце года. Однако параллельно с учением продолжала рисовать – и выигрывала конкурсы, становилась все большей школьной знаменитостью. Ее поздравительная открытка для ветеранов заняла первое место в престижном конкурсе. У нее не просто получалось жить – у нее это получалось круче, чем у здоровых детей.

– А еще в моей жизни случилось совсем невероятное событие – исполнилась моя мечта! «Алые паруса» в Санкт-Петербурге! Это мой выпускной! Я окончила одиннадцать классов. Фантастика! – с восторгом говорит Арина.

Фантастика – так она называет корабли, плывущие по Неве. Настоящая фантастика – то, что она дожила до одиннадцатого класса, дожила не словавшимся существом, не размазанной по койке

болезнью, а художником, мыловаром, творцом, путешественником. Она признается, что очень любит путешествия. В Бишкеке родители возили ее на горное озеро Иссык-Куль, в Воронеже – в Павловск, на Дон, на рыбалку, на меловые горы. А далеко поехать Арина не может. Ей нужен кислород, у нее легкие издырявлены болезнью.

Два года назад она встала на учет в Институте трансплантологии имени Шумакова. Но ее все еще не берут и не берут на пересадку. Арина слишком мало весит. Нельзя. Так и продолжает жить, дыша ошметками легких. Ничего. Учится в автошколе, планирует научиться делать необычные свечи вдобавок ко всему, что делает уже сейчас. Мастерит причудливые, фантазмагорические маски из папье-маше. Взвешивает на кухонных весах щелочь, смешивает с разными причудливыми маслами – получают мыльные фигурки...

...У нее была Муся. Морская свинка. У Арины – аллергия на свинку. Но расставаться не хотела. Вместе с папой выпиливала двухэтажный стеллаж. Врачи вздыхали, выписывали препараты от аллергии. Муся прожила восемь лет. Арина за это время создала в «ВКонтакте» группу про морских свинок, познакомилась с кучей ребят по всей России. Теперь хочет, когда ей поменяют легкие, поехать везде, везде, сесть на поезд и объехать всю Россию, всех обнять.

Больные с муковисцидозом при хорошей антибактериальной терапии живут до тридцати лет. Если все будет хорошо – Арина успеет.

Она боится, что все изменится, если проверенные препараты заменят российскими аналогами. Боится, что первыми умрут ее взрослые друзья с муковисцидозом, затем – ровесники. Она просила это передать.

Тянется кисточка по бумаге, рисует сказочных зверей, а может быть, хамелеонов, а может, морских свинок в волшебной шкурке, в раю. Лазают они по зеленым веткам, и все у них хорошо, и нет никакой смерти. Таращатся они огромными глазами в будущее, и нет никакого страха в этих глазах.





Юность №2  
Февраль 2020

# ШТУДИИ

К 100-ЛЕТИЮ ФЕДОРА АБРАМОВА

# ФЕДОР АБРАМОВ: НА ПУТИ К «БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ»\*



ОЛЕГ ТРУШИН

Родился в 1969 году в Шатуре Московской области. Окончил Государственный социально-гуманитарный факультет (исторический, психологический, юридический факультеты). Прозаик, член Союза писателей России и Союза писателей Союзного государства. Автор повестей,

рассказов, очерков, эссе, статей об истории, культурном наследии, природе России. Автор восемнадцати книг, среди которых «Герои войны 1812 года», «Рассказы о Московском кремле», «Там русский дух...», «Нругом Россия — родной край», «Снегирина метель», «Под счастливой звездой»,

«Звуки тишины». Лауреат многих международных и российских литературных премий, в том числе премии Центрального федерального округа РФ в области литературы и искусства, Литературной премии имени М. Пришвина, Литературной премии имени А.Н. Толстого. Живет и работает в Шатуре.

С 1950 годом наступило новое рубежное десятилетие XX века. Для Федора Александровича оно будет весьма непростым, круто замешанным, переломным и отчасти даже жестоким, разрушительным в оценках действительности, переосмысления им ценностей и в то же время ярким, наполненным глубокими переменами в жизни. В начале этого десятилетия его имя во весь глас загремит со страниц «Нового мира» жесткой, реалистичной критикой, чтобы к концу 50-х прочно осесть в русской, мировой литературе, став в ней, без преувеличения, в один ряд с тем, кому он посвятил годы своей научной деятельности.

А в первый год нового десятилетия Федор Абрамов, словно загнанный в оклад, метался между кандидатской, которую нужно было писать и доводить до ума (за ней стабильность, статус и деньги), и воплощением в жизнь замысла своего романа, судьба которого была еще весьма призрачна, но к которому уже тяготел и без которого уже не мог. Подолгу просиживая в читальных залах университетской и публичной библиотек, обкладываясь книгами, старательно работал над текстом диссертации. Он словно подгонял себя, стараясь как можно быстрее освободиться от назойливой рутины написания диссертационного текста. Работа над диссертацией давала ту книжную радость, страсть общения с литературой, которая владела Федором Александровичем всю жизнь. Удивительная жадность до книг, до чтения, погружение в мир героев так явственно и зримо были для Абрамова нравственным маяком, освещавшим все его творчество. И работа над диссертацией была для него своеобразным уединением от всего этого шумного, клокочущего на все лады мира, в котором он жил.

\* Главы (в сокращении) из готовящейся к публикации в издательстве «Молодая гвардия» книги «Федор Абрамов. Я жил на своей земле». Фотографии предоставлены пресс-службой Академического Малого драматического театра – Театра Европы г. Санкт-Петербурга.

Он по-прежнему являлся активистом в общественных делах, был на виду и, как говорится, в фаворе у университетского начальства, да и в кругах повыше. О нем во всеуслышание поговаривали в кулуарах и в кабинетах влиятельных членов Ленинградского обкома, и в первую очередь в связи с ленинградским делом о космополитах, где он был «в передовиках». Его партийная карьера могла бы сложиться достаточно рано и успешно, не вылезь наружу его прямолинейность и... почти детская наивность.

Являясь членом партийного бюро факультета, он был по-прежнему безапелляционно суров и, продвигая линию партии, отталкивал своим хмурым видом. Его «мало кто любил: молва шла впереди него», – вспоминал о Федоре Абрамове Александр Рубашкин\*. Чрезмерная замкнутость, и это подмечали многие, подпудренная твердым и сложным характером, настораживала. Уже на тех порах эта боязнь в отношении Федора Абрамова превращалась в явную ненависть к нему. Никто не хотел или, может быть, просто не желал заглянуть в его потаенные глубины души. Душевная чистота Абрамова и человеколюбие, внутреннее душевное состояние, ранимость, восприятие мира глазами тонкого художника спустя время с лихвой водопадом чувств прольются на страницах «Братьев и сестер», «Пелагеи», «Альки» и других творений, и для тех, кто знал иного Абрамова, это станет открытием.

Сомневающаяся натура Абрамова, который мучил себя мыслями о несовершенстве, постоянно выискивал изъян не только в себе самом, но и в отношениях с любящим его человеком, не прекращала искать подтверждения искренности чувств, их достоверности. В действительности это была борьба с самим собой за свободу в первую очередь творческую, которой Абрамов явно дорожил и отсутствие которой не мог допустить. Он хорошо понимал, что семейная жизнь с ее обязанностями и обременениями, с ответственностью и как следствие тому ограничениями во многом, и прежде всего в писательском труде, может стать для него невыносимой из-за потери творческой свободы, к которой он так стремился. Он верил в себя, верил в свои силы и очень боялся в этом оступиться, не реализовав себя в том, что он ставил уже на первый план – литературное творчество. И это долгое «прощупывание» отношений с Крутиковой, затянувшееся более чем на два года, было, по всей видимости, со стороны Абрамова шагом намеренным.

2 июня в Белорусском университете успешно прошла защита кандидатской диссертации Людмилы Крутиковой. Федор в своем телефонном разговоре был сдержан в поздравлениях, сетовал на то, что рано радоваться и что защиту должна еще утвердить Москва, где заседала Высшая аттестационная комиссия. Эта «нейтральность» Абрамова по отношению к весьма большому событию и успеху близкого ему человека была уж чересчур «немой» и как бы отторженной, не воспринятой им должным образом.

В середине июля, уже после своего возвращения в Ленинград из Минска, куда Абрамов ездил всего лишь на два дня, после возникшей там новой размолвки он отправляет Крутиковой письмо, наполненное сомнениями об их будущем. Но уже в следующем новом письме, словно испугавшись возможной потери, сам же себе и противоречит, отгоняя мрачные мысли: «Наше решение с тобой порвать переписку мне сейчас представляется, по меньшей мере, наивным» (из письма 19 июля 1950 года).

Абрамов, словно играя, выворачивая наружу, прощупывает чувства человека, явно заинтересованного в нем, пытается не просто понять искренность

\* Рубашкин А. И. В доме Зингера. Воспоминания. Портреты. Письма. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга; Петрополис, 2015. С. 91–135.



<sup>1</sup> В первый год начала работы над романом «Братья и сестры», 1950 год

этих чувств, но и отгородить себя некоей стеной от первого шага в отношениях со своей стороны. Он боится оступиться в своих опасениях и еще, еще раз настойчиво заводит разговор в переписке о несостоятельности их отношений, тем самым вынуждая на глубокие по эмоциональному раскладу письма. «Федя. Дорогой!.. Мое состояние, настроение, чувства нельзя просто передать, для этого нужно быть гениальным художником. Увы, я не могу. Меня мучает многое, терзает больше всего то, что ты отказался от меня, от большой настоящей любви, от чудесной сказки, – напишет Людмила Владимировна Федору Абрамову в письме 27 июля 1950 года. – Я люблю тебя... Любимый мой, если мы не встретимся, очень прошу тебя – достань пьесу Э. Ростана “Сирано де Бержерак” и храни ее как память обо мне. О нашей любви. Живи как он “с солнцем в крови”, борись своим словом и делом, как он, с подлостью, клеветой. Предвзвешенными и глупостью. Я верю в тебя. И ты когда-нибудь поймешь свою ошибку...»

Это кричащее во весь голос письмо Людмилы о своих чувствах Федор Абрамов получит уже на хуторе Дорищи Новгородской области, куда он был зазван другом Федькой Мельниковым и откуда, оставив свои творческие дела, что для него в этот момент было наверняка делом непростым, уехал 15 июля в Минск по настоятельному прошению Людмилы, где, вероятнее всего, и обозначил адрес своего летнего пребывания.

Хутор Дорищи. Если бы не пребывание в нем в 50-м году Федора Абрамова и та незримая связь с романом «Братья и сестры», вряд ли кто-нибудь ныне вспомнил о том райском уголке уединения, затерявшемся среди новгородских лесов у тихого лесного озерка, куда было весьма непросто добраться, впрочем, как и ныне.

До хутора путь был мучительным. И если бы не железная дорога, то вряд ли сюда можно было добраться за один день.

Сначала гости ехали в донельзя набитом пассажирами поезде до станции с забавным названием Боровенка, а затем еще семь верст на подводе, которой умело правила дочь хозяина Дорищ Екатерина, что и встречала путников на железнодорожной станции.

Дорога текла все больше лесом, перелесками, прикрывающими поля, выкапывала на простор полевых закраек, обогнув лесное, загустевшее с берегов сорным осотником Хоринское озеро, получившее название по соседствующей с ним деревне Хорино.

Неровность, валкость дороги ощущалась всем телом, и гости, а Мельников ехал еще и со своей женой Людмилой и сыном Сергеем, расположив на телеге свой нехитрый скарб, переваливаясь с боку на бок, слушали простор увядающего дня, любовались красками лета, оставив позади городскую суету.

О чем разговаривали в дороге два Федора – неизвестно. Ни тот ни другой на этот счет не оставили никаких свидетельств. Но то, что Абрамов, по воспоминаниям Мельникова, уже на второй день по приезде принялся усердно работать, говорит о многом.

Федору Александровичу явно понравились здешние места, чем-то отдаленно напоминавшие и его родное Пинежье: пожни, густые леса, необозримый простор которых так же терялся за горизонтом. Может быть, не хватало высокого угора да широкой вьющейся ленты реки. Но это с лихвой компенсировалось тишиной и умиротворенностью.

Хозяин одного из хуторских домов (всего в Дорищах было семь дворов) Трофим Андреевич Уткин по просьбе Мельникова, которого он хорошо знал по лету 49-го, когда тот уже гостевал с семьей на его хуторе, отвел новому гостю совсем недавно поставленную избу.

По воспоминаниям Мельникова, от такого подарка Абрамов был в восторге, радовался как ребенок! Он умел так радоваться – искренне, с душевной простотой, нараспах души! Долго ходил, осматривался, потирал ладонями струганые, пропитанные смолой бревна, вдыхая горьковато-пряный смоляной дух. Присаживаясь на дощатые приступки, облакачивался спиной на дверной косяк и о чем-то думал, думал, словно выпадая во времени.

Тогда в Дорищи Федор Александрович привез с собой самый ценный груз – сюжетные наброски своего «первенца» – романа, названия которому еще не было, и записные книжки.

Федор Мельников впоследствии просто не мог не рассказать о том, как работал Абрамов в Дорищах: «За рабочий стол Федор садился очень рано, с рассветом, и работал до самого вечера с перерывами на завтрак и обед. Питались мы вместе, за одним столом. Готовила для нас добрая и хлебосольная хозяйка дома Ольга Семеновна... Нас же, помню, хорошо кормили – свое парное молоко, своя картошка, домашние вкусные хлебы...

После завтрака с топленным молоком из русской печи, с вареными яйцами из самовара Федя шел за свой “станок”, как он называл рабочий стол, а я принимался за свое обычное дело. После обеда он читал то, что им было написано за рабочий день. Читал он только мне и просил об этом никому не говорить. Читал он четко, с расстановкой, проверяя активность своего слушателя и зрителя...

Мы были оба увлечены этим удивительным процессом рождения живых литературных героев. В нашей беседе, размышлениях, продолжая развивать характеры людей, их отношения, связи, сюжетные линии, Федор своим темпераментом и напором буквально втягивал меня в самую гущу творческого “варева” и не отпускал меня до тех пор, пока сам себя не исчерпает до дна...

И, наверное, было бы совсем однобоко и упрощенно видеть в тамошних чтениях и беседах одну только радость, сплошное удовлетворение. Нет! Было очень много и огорчений. Часто возникали споры. Особенно было трудно, когда у Федора наступали кризисные часы – время сомнений, а то и полного неверия в свои способности. Такие трудные периоды назывались нами в шутку “падучей”. Нелегко расставалась с ним “падучая”. Требовалось время, определенные совместные наши усилия, нужный заряд энергии и уверенности для дальнейшей писательской работы.

Когда работа у него застопоривалась, он решительно ее оставлял и уходил из дома. В дальние прогулки, которые он так любил, он звал и меня. А поскольку вокруг Дорищей было много всякой ягоды и грибов, мы брали лукошки и уходили на природу...

Когда были написаны первые главы, Федор, советуясь со мной, неуверенно, потом твердо дал название “Великая страда”. Затем появились другие – “Невидимая сила”, “Бабы, старики, дети”...

Живя в Дорищах, мы с Федей часто ходили в рабочий поселок Дерняки. Бывало, по дороге мы с увлечением занимались придумыванием названия нового романа. Почти все они были отвергнуты, кроме трех, которые тоже не выдержали испытания временем, – “Семья Пряслиных”, “Мои земляки”, “Наши братья”. Дольше всех за романом закрепилось название “Большая страда”...»\*

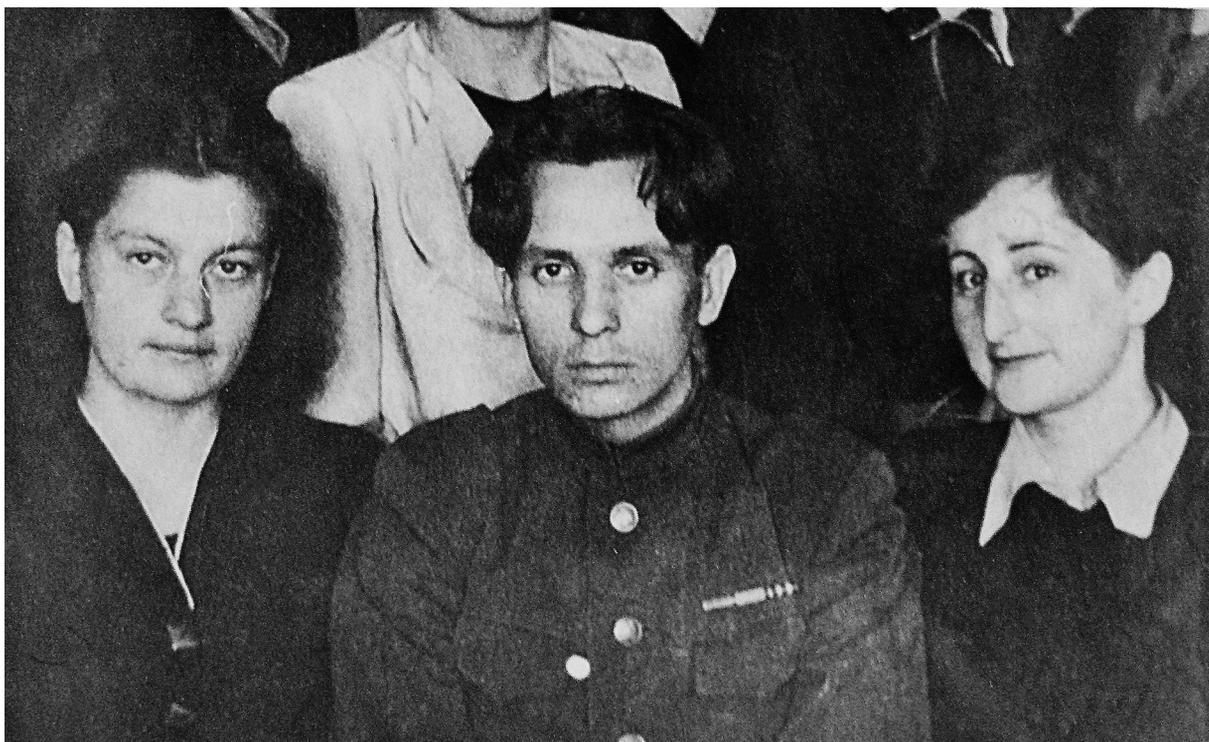
И только вернувшись 19 августа в Ленинград, Абрамов поймет, насколько благотворно было для него это «сидение» в Дорищах, для его творческого настроения, вдохновения. Именно в Дорищах в полный накал заработала в нем та самая кузница мыслей, давшая возможность сложить воедино желание писать и уже накопленный творческий потенциал задуманного. И он искренне сожалел, что в городе дела с романом не спорятся. Об этом, спустя десять дней после своего возвращения, он сообщал в письме другу Федору, оставшемуся с семьей на хуторе: «...Ни дел, ни работы. Прошло уже десять дней, как я уехал от тебя, а воз и поныне там: не написал ни одной страницы. Сейчас, как никогда, я постиг истину: куй железо, пока горячо... Все больше убеждаюсь, что для работы творческой нужен покой, по крайней мере отдельная комната. А у меня этого нет, а это тоже мешает».

В Дорищи Абрамов больше не вернется, так уж сложатся его жизненные обстоятельства, но со следующего года он каждое лето будет выбираться в родную Верколу, в дом брата Михаила, где, уединившись в маленькой («кошка ляжет – хвост протянет», как говорят в народе), с низким потолком комнате, будет усердно писать, писать и писать свой роман, может быть, ставший не только первым, но и главным произведением всей его жизни.

Итак, небольшой хутор Дорищи на Новгородчине на короткие два месяца стал для Федора Абрамова настоящей творческой лабораторией, той отправной точкой, откуда «поплыли» первые сложенные главы его будущих, завоевавших мировое признание, «Братьев и сестер».

Отсюда, из уютной доришинской избы, при свете керосинового фитилька, он писал в Минск Людмиле, зазывая ее увидеть всю эту деревенскую красоту, которая ему была так близка. И она, хоть и ненадолго, приехала. После всех мытарств, унижений, выпавших на ее долю уже после, казалось бы, столь успешной защиты кандидатской, первый ее отпуск, пришедшийся на август, был как награда, как праздник.

\* Мельников Ф.Ф. Откуда пошли «Братья и сестры» / Воспоминания о Федоре Абрамове: Сборник. М.: Советский писатель, 2000. 672 с.



† Федор Абрамов.  
Аспирантура

На отправленную в Дорищи телеграмму, в которой значилось о приезде, Федор немедленно отозвался своей, отправив ее с почтового телеграфа деревеньки Хорино, что находилась в четырех верстах от хутора: «Бесконечно рад жду вези белых сухарей (белые сухари и сушки Федор Абрамов особенно любил. — *О. Т.*) телеграфируй выезд поздравляю успехом два Федора».

Встречать гостью на станцию Боровенки поехали оба Федора. Каким образом добирались, на этот счет свидетельств не осталось. Впрочем, гадать тут особо не о чем. Единственным средством передвижения на все случаи жизни была конная повозка.

Мельников вспоминал, что перед встречей Федор аккуратно прибрался в избе, подмел пол, помыл окна и очень был рад приезду Людмилы.

Почти две недели провели они впятером на хуторе. Быстро летело время. Федор по-прежнему с рассвета, не разгибаясь, просиживал за столом, и каждый день давал новые страницы романа. В свободное время все вместе гуляли по окрестностям, ходили за грибами, ловили рыбу и радовались всему, что их окружало. С удовольствием вкушали нехитрую крестьянскую снедь и даже сами помогали по хозяйству Трофиму Андреевичу и его супруге Ольге.

19 августа Федор Абрамов с Людмилой, тепло простившись с хозяевами дома, уехали. Как вспоминал Мельников, он с женой да Трофим Андреевич проводили их «до самого леса, на большую дорогу, где, хорошо помню, широко раскинулась поляна, вся усеянная ромашками. Тут же рядом бежал шустрый ручей, где Федор любил постоять босиком в воде, когда мы возвращались с прогулок за земляникой».

Лишенный особой сентиментальности, Абрамов тогда очень трогательно прощался с гостеприимным хозяином хуторского дома, крепко жал ему руку и, уже отдалившись от того места, где они расстались, еще долго, сидя на телеге, смотрел на уплывающие вдаль фигурки людей, помахивая рукой.

Тогда, покидая хутор, Абрамов вовсе не мог предположить, что пройдет совсем немного времени и от этого райского уголка не останется и следа. Жив-

шие в хуторе семьи разъедутся, прихватив с собой и дома. А те постройки, что останутся, в конце концов приберет время.

Ленинград встретил Федора Абрамова рутинной диссертационной работы, от которой он за два прошедших месяца порядком поотвык.

Проводив 23 августа Людмилу в Минск, он снова впрягся во всю эту казенщину неоспоримой нужды.

Наступал последний год его обучения в аспирантуре, а работы было еще много: нужно было сделать несколько статей в университетском «Вестнике», написать автореферат, сдать положенные экзамены, решить все вопросы с предварительным обсуждением работы, и прочее, прочее... Из письма 28 августа Людмиле: «То, что казалось мне раньше значительным, сейчас потускнело». Работа над романом явно «переборолла» усилия по диссертации. Но в Ленинграде вновь появились мысли (ох уж эти абрамовские сомнения!) о бесполезности и несостоятельности задуманной им вещи. И далее, в новом письме, написанном уже на следующий день: «...на душе у меня отвратительно. А всему вина, вероятно – неудачи с романом... Я все написанное подверг уничтожающей ревизии и вижу, что все это – учинительство. До удобочитаемой вещи – пропасть. И потому все назойливее мысль: не бросить ли эту музыку?.. Мне не хватает двух вещей: знания жизни и, что еще более важно, умения писать». И вот уже строки, наполненные сомнениями относительно не только романа, но и диссертации: «Роман думаю положить под сукно и числа 5–6 начну заниматься диссертацией. Я решил, что ее надо написать как можно скорее. Для нормальной жизни необходим ближайший успех, а роман – дело длинное.

На днях закончу 5-ю главу и брошу. К тому же я убеждаюсь, что в замыслах у меня все лучшее, чем в реализации, а это плохо. Видно, не писатель! Да и обстановка не благоприятствует. Для романа нужен покой и длительное “романное” настроение. Искусственно его создать нельзя. Буду писать диссертацию. Дай бог, чтобы только здесь что-нибудь получилось.

Одобрешь ли меня? Иначе ерунда. Кончаю аспирантуру, а у меня ни диссертации, ни романа».

Действительно, если видеть первые главы романа образца 1950 года, то создается впечатление, что Абрамов писал так, как думал, как шла мысль под запись, именно так она и оформлялась, без какой-либо доработки. Оттого-то и пестрят эти ранние рукописи колоссальным количеством пометок, вставок, добавлений, подчеркиваний, оборотными заполнениями листа. Когда и при каких обстоятельствах делались эти пометки, сказать трудно. Вероятнее всего, тексты дополнялись и были правлены Абрамовым уже в Ленинграде, как раз в ту самую пору – пору его тягостных мыслей о судьбе начатого им произведения.

А в личных отношениях наконец-то определилось некоторое спокойствие. Может быть, это была определенная сдержанность, возникшая вследствие понимания ситуации, в которой они оказались: он в Ленинграде, она в Минске, у каждого свои заботы, но в них жило уже то, что их объединяло, – любовь и доверие друг к другу. Федор был по-прежнему сдержан в признаниях и все больше, с присущим ему реализмом, размышлял: «О своих чувствах я уже писал. Я теперь не знаю, будешь ли ты счастлива, что встретила со мною. Через год я кончаю, и где буду работать, неизвестно. А жить в разлуке – тяжело и долго невозможно. И все же не стоит, пожалуй, об этом говорить сейчас. Ведь в этом году ничего нельзя изменить» (из письма 29 августа 1950 года).

А вот Людмила не скрывала своих чувств. «Я люблю тебя такого, как ты есть, и люблю не на час и не на день, а на всю жизнь», – откровенно писала она ему в своем ответном письме 2 сентября, успокаивая его и низвергая сомнения.

И, словно насквозь видя его литературную даровитость, отмечая его мысли по поводу несостоятельности затеи, настойчиво писала ему: «Феденька, хороший мой, поверь мне – и пиши, пиши роман. У тебя большие способности, и ты настоящий писатель. А кое-какие навыки придут в процессе работы».

Конечно, до того момента, пока Абрамов обретет свое перо, станет автором знаменитых «Братьев и сестер», пройдет еще немало времени. Но тогда этой поддержкой, уже зная беспокойный, мечущийся, неровный и в чем-то нерешительный характер Абрамова, Людмила Владимировна спасла в нем писателя, посеяв в его сердце надежду в добрый исход начатого, и в дальнейшем, связав с ним свою судьбу, сохранила его писательский талант.

29 февраля 1980 года на юбилейном вечере в Ленинградском доме писателя имени Маяковского уже писатель с мировым именем – Федор Абрамов – скажет в адрес своей супруги: «Я не могу не сказать... самых добрых слов о моей жене, которая тоже сыграла очень большую роль в моей писательской судьбе... Я не могу не сказать о ней добрых слов, потому что она мой соратник. Она человек, без которого я вообще-то ничего не делаю ни в жизни, ни в литературе». Эти слова, сказанные Абрамовым, действительно были правдой!

Сама же Людмила Владимировна при жизни Федора Абрамова публично никогда не вспоминала о весьма тревожной поре в биографии писателя, и лишь с его уходом, спустя время, на склоне своих лет, приоткрыла тайну, опубликовав нескольких писем из архива писателя.

Много, много сомнений претерпел тогда Абрамов в мыслях о романе: сомнений тягостных, сверлящих, нудных, не дающих забыть, направить мысль в другое русло. «О романе перестал думать... Какой уж там художник, если у меня такой суконный, казенный язык?» – с тревогой и явным желанием услышать обратное напишет он в Минск 27 сентября. И опять о диссертации: «Пока диссертация не написана, нельзя отдаваться этому соблазну» (из письма от 12 октября).

Плоткин при встречах крепко подгонял с диссертацией, настаивая закончить ее уже к весне. Да и сам Абрамов хорошо понимал, что она должна подоспеть в чистовом варианте к окончанию аспирантуры. Так надо! Так должно было быть!

Деваться было некуда, но работа, все одно, шла туго, не спорилась, буксовала. К тому же обременявшая общественная работа, от которой Абрамов никогда не увиливал, отнимала кучу времени. И в последнее время, как на грех, этой работы только прибавилось: частые заседания кафедры и еще чаще – партийного бюро, подготовка к обязывающим выступлениям – все это накладывало свой отпечаток.

Последние месяцы уходящего года Федор Александрович стал даже реже заглядывать в гости к Мельникову. Последний раз они виделись в начале сентября по возвращении «второго» Федора с семьей из Дориш. Федор Александрович тогда, засидевшись в гостях за полночь, много расспрашивал, вспоминал и высказывал мысли, что следующим летом обязательно поедет вместе с другом на любимший хутор.

О том, что наступающий 1951 год будет решающим не только в его научной биографии, но и в семейной жизни, Абрамов, конечно, знал, ну или хотя бы предполагал. С защитой кандидатской было более или менее понятно, там все зависело исключительно от сроков и времени. А вот в разрешении вопроса семейного устройства по-прежнему была все та же абрамовская нерешитель-

ность, по всей видимости, мучившая и его самого. Уж слишком серьезно подходил он к запуску этого этапа в своей жизни. И, может быть, в его уж слишком реалистическом мировоззрении еще была и небольшая доля помыслов несколько оттянуть это время. Но собственные чувства к Людмиле и ее отношение к нему заставляли по-особому смотреть на все эти «неудобства» предстоящей семейной жизни. И пустота после ее отъездов воспринималась Федором уже иначе: она давила, корябала, заставляя все чаще и чаще усаживаться за чистый лист бумаги, чтобы написать очередное письмо в Минск. Он уже хорошо понимал, что между ними происходит нечто значительное.

12 января 1951 года Людмила Крутикова приехала к Абрамову в Ленинград.

Так уж произошло, что у коренной петербуженки, родившейся и выросшей в городе на Неве, в самом Ленинграде никого не было. Но тем не менее она не чувствовала себя в нем гостем: были друзья, знакомые, и, прежде всего, здесь жил тот, ради кого она сюда ехала.

Абрамов был рад ее приезду и в назначенный час встречал ее на перроне Московского вокзала.

До Малой Охты не торопясь шли пешком, разговаривали. Был погожий, солнечный зимний день с высоким голубым небом и ярким, слепящим глаза, морозным солнцем. День, словно специально заказанный для них...

«Замечаешь ли ты, что с каждым разом становится все труднее обживать после разлуки?» – напишет он ей первым уже на второй день после ее отъезда в Минск. А уже на следующий день, чтобы положить конец этим разлукам, пойдет в Пушкинский дом к Алексею Сергеевичу Бушмину, только что назначенному на директорскую должность, и будет просить за Людмилу об устройстве ее на работу. Но получит отказ. И вновь камнем преткновения станет ее «оккупационное» прошлое. «...Словом, твое прошлое, столь неприятное для меня во всех отношениях, является помехой и здесь. Бушмин даже высказал мне порицание, что я, человек, работавший в партийных органах, ходатайствую за лицо, бывшее на оккупированной территории... все для тебя не утешительно, но ты не горюй», – с явной болью в душе, словно утешая вместе с ней и самого себя, напишет Абрамов в этом письме.

Отношение Федора Абрамова к столь неприятному эпизоду в биографии своей возлюбленной было весьма неоднозначным. Конечно, он понимал. А что могла сделать девушка, фактически отправленная в эвакуацию от наседающей войны и по случайному стечению обстоятельств оказавшаяся в самом ее жерле – оккупации, девушка, которая, ежечасно рискуя своей жизнью, провела почти два года «под прицелом» у врага?! Нужно ли говорить о том, что творили с мирным населением немецко-фашистские войска на оккупированной ими территории? Думаю, что в этом нет необходимости, об этом сказано предостаточно. С другой же стороны, Федор Абрамов, хвативший сполна фронтового лиха, в своем сознании не мог принять тот факт, что можно было жить и работать «под фашистами». На эту дилемму он постоянно наталкивался, пытаясь, по крайней мере для самого себя, оправдать «поступок» Людмилы. Для него, человека с безупречным фронтовым прошлым, было очень тяжело смириться с сим «неблагонадежным» фактом в биографии Людмилы, не единожды становившимся камнем преткновения в его судьбе.

В начале 50-х, когда они уже будут жить вместе, еще до его нашумевшей статьи в «Новом мире», Федору Абрамову предложили возглавить отдел культуры Ленинградского обкома КПСС. Должность очень солидная, и для него, едва перешагнувшего тридцатилетний рубеж, могла бы сыграть весомую роль в партийной карьере. Но все разом разрушилось, как только в верхах узнали о его

весьма близкой причастности к лицу, находившемуся длительное время на оккупированной территории\*.

Припомнили Абрамову эту «неблагонадежную» связь и во время его яростных «чихвосток», проходивших в университете и в обкоме после выхода в свет статьи о «людях колхозной деревни», что дала такую волну резонанса в верхах, о чем не мог предположить даже сам автор.

До того момента, как Людмила Крутикова напишет заявление с просьбой уволить ее с должности преподавателя филфака Белорусского университета, а случится это 19 июня 1951 года, в ее жизни с Федором Абрамовым вновь потечет вереница сомнений в их семейном счастье, инициатором которых снова станет Федор. Это будет период волнительной для них обоих переписки, наполненной содрогающими душу эмоциями, за которыми явно слышатся тоскливые стоны душ, загнанных в круговерть проблем, которые, как тогда казалось, были вовсе не разрешимы.

И даже его апрельский приезд в Минск почти на целый месяц лишь на короткое время разрядит ту атмосферу за их будущее, но так до конца и не избавит от нее. В его последующих письмах по-прежнему будет беспокойство о сочинительстве, которое, возможно, будет оставлено в результате совместной жизни, чего ему совсем не хотелось. Из майских писем Федора Абрамова: «...Я предчувствую, что это надолго лишит меня возможности мараить бумагу по своей прихоти». И в другом письме, словно желая продлить свою холостяцкую жизнь, явно намекнет в свойственной ему манере, что он не против работы Людмилы в Минске еще в течение года: «Может быть, это самое разумное. Но я также и за твой приезд».

Ленинград – Минск. Это расстояние, пусть и не такое большое, которое они не могли сократить в эти последние два года, висело дамокловым мечом над ними.

Нужно было кому-то сделать первый шаг. Абрамов не мог – мешала аспирантура, а может быть, делал выдержанную паузу в этом вопросе.

У Людмилы было не все спокойно в университете, и ей, теперь уже кандидату филологических наук, было гораздо проще покинуть город, так и не ставший для нее родным. И тем не менее переезд в Ленинград так же не сулил ей радужных перспектив в работе, но все же она решилась, поставив превыше всего свои чувства к Абрамову.

А что Абрамов? «Да, я люблю тебя, люблю только одну тебя», – напишет он ей признание в письме от 7 июня. И уже в более позднем письме от 22 июня, явно приняв решение Людмилы вернуться в Ленинград, будет строить их совместные планы: «...Ты приезжаешь 3–5, может быть, недельку я еще позанимаюсь, и поедем на север дней на 20 – на 30. А если будет твоя воля. Поедем сразу. По приезде снимаем комнатенку, я заканчиваю диссертацию, ты ищешь работу (с моей помощью). А в сентябре, может быть, дадут общежитие».

И все же, если бы не решительность Людмилы, то, по всей видимости, не быть ей женой Федора Абрамова и верным хранителем его огромного таланта. Каза-

\* Однако близкий к Абрамову А. И. Рубашкин придерживается несколько иной версии «краха» партийной карьеры Ф. Абрамова. Вот как он рассказывает об этом, не ссылаясь на первоисточник. После последовавшего предложения Федор Абрамов «после раздумий и разговоров с самыми близкими пришел с вопросом – дадут ли ему при новой должности квартиру. Сколько он может жить с Люсей в коммуналке? И тут уже задумалось начальство. Странный вопрос, странный разговор. Он что, с луны свалился, этот бывший фронтовик? Конечно же, не только заведомо, но и партчиновники поменьше рангом, полируя коридоры Смольного, не были обделены ни квартирой, ни путевками в закрытый санаторий и проч. Начальство думало долго, но объясняться с Абрамовым не стало. Нашелся человек более понятливый» (Рубашкин А. И. В доме Зингера. Воспоминания. Портреты. Письма. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга; Петрополис, 2015. С. 91–135).

лось бы, что при всей эмоциональной составляющей отношений Федора Абрамова к ней его душевное метание, выразившееся в фактическом отталкивании искренне любящего человека, едва не стало для их семейного счастья роковым. И вот, в подтверждение этому, резкое, отчасти нервное и весьма тревожное, наполненное безразличием письмо, отправленное еще 21 июня, и это за десять дней до приезда Людмилы в Ленинград: «...Нет, надо твердо решить: или жизнь со мной и тогда ущербность в работе, в быту, словом во всем, или работа... В телеграмме от 19-го ты сообщаешь, что из Минска уезжаешь 3-го. Следовательно, с ним ты расстанешься навсегда. Но подумай еще раз: если ты без педагогической работы не можешь обойтись, что ж, можно тогда просить у Министерства нового назначения. Жаль только, что ты поспешила с оформлением ухода по семейным обстоятельствам. И вообще твое преждевременное отбытие из Минска для меня остается полной тайной... Я постараюсь остаться в Ленинграде, но если тебя это не устраивает, ты всегда свободна в определении своей судьбы.

В отличие от тебя, я не имею обыкновения упрекать человека, когда он меняет свои решения...

Год нам предстоит очень тяжелый. Ты приезжаешь 3-го, а где остановишься, не знаю. В общежитии нельзя, так как Бережной уедет после 15-го. Но, вероятно, что-нибудь придумаем. Главное, чтобы у тебя не было чувства обреченности. Иначе, как ты понимаешь, мы сразу же поругаемся... Я рад твоим сообщениям о любви к тебе студентов. Может быть, потому-то мне и кажется иногда, что я отрываю тебя от большого дела. Хотя нет, я не стеснял тебя в решении этого важного вопроса».

И снова развилка дорог их семейной жизни! Что могла ответить Абрамову Крутикова, которая, к слову, к этому времени еще состояла в законном браке? Ответ был в письме от 29 июня: «...Сколько я тебе писала о трудностях! Я верила тебе. Я нашла в себе силы пойти на все ради нашей жизни. И снова в трудную минуту, в последнюю минуту ты отступаешь... Словом, либо ты решишь сделать все (и ты способен на это), чтобы мы были вместе, либо надо расстаться. Третьего пути нет.

Если человек захочет, он всегда может добиться. Решай.

Если мы ночью не договоримся (предполагался телефонный разговор. – *О. Т.*), то на это письмо жду телеграмму, только ясную. Ибо я должна тогда выезжать в Москву и решать свою судьбу. Людмила».

Это письмо Людмилы Крутиковой Абрамову было последним в их двухгодичной переписке «Ленинград – Минск», ставшей поистине знаковой в их судьбах.

Истину несут в себе слова Есенина: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Как бы сложились их отношения, оставшись тогда Крутикова в Ленинграде, – неизвестно. Тот короткий период их общения все же не мог дать того глубокого познания абрамовского характера, которая дала переписка.

Поистине, письма – есть свет человеческой души. И этот играющий свет души Федора Абрамова, то закрываемый свинцовыми грозowymi тучами постоянных сомнений и подозрительного скепсиса, то вновь пробивающийся, обретаемый через предостережения и двусмыслие, чрезмерную взыскательность к самому себе и неуверенность, можно было увидеть лишь на значительном расстоянии. Ведь вся его натура уже тогда была сродни огромному раскаленному солнцу, согревающему на расстоянии, но обжигающему, испепеляющему вблизи. Это было свойством огромного таланта, рассмотреть который через призму бытовой сутолоки было дано не каждому.

Тогда, на заре их отношений, уже видя всю сложность абрамовской натуры, она вряд ли смогла бы пересилить себя, устав от постоянных вспышек его вну-

тренней энергии, выстроить отношения так, какими они стали спустя эти два года. Возможно, что частые встречи просто бы подломили чувства обоих, не дав им вырасти в то, что зовется одним словом – единение.

Какой убедительной силы был тот ночной разговор, расставивший все точки над «i» в самом главном в то время вопросе, – нам не известно, но 7 июля Федор Абрамов уже встречал Людмилу на перроне Московского вокзала.

Этот день стал для Федора Абрамова началом новой жизни, продлившейся чуть более трех десятилетий, жизни творческих свершений, наполненной любовью, добром и пониманием со стороны человека, ставшего для него поистине всем, отдавшего себя сполна его великому таланту словотворца.

Их совместная жизнь, в прямом смысле слова, началась с Верколы, куда они в самую комариную пору и время белых ночей и сенокоса, оставив часть вещей у Мельникова, не решив никаких жилищных вопросов, укатили уже на второй день по приезду Людмилы в Ленинград. Единственным тогда транспортом, как и в детские годы Федора Абрамова, был пароход. Северная Двина, Пинега...

По воспоминаниям Людмилы Владимировны, путь был долгим и утомительным, плыли «на каком-то маленьком пароходике», напичканном донельзя пассажирами, «который не раз садился на мель».

Если эта первая и последняя перед долгим перерывом поездка Людмилы на родину Федора была для нее испытанием, то для Федора Абрамова она стала долгожданной встречей с родиной после двухгодичного перерыва.

По приезду остановились в небольшой одноэтажной избе, где уже который год жила семья брата Михаила.

«Было тесно, жарко и душно, – вспоминала Людмила Владимировна. – Я плохо помню... где и как мы ночевали, скорее всего, на сеновале над скотным двором, где стояла корова».

По всей видимости, так оно и было. Поветь, а именно ее имела в виду Людмила Владимировна, когда упоминала сеновал, была обычным чердаком над коровником, где хранили сено, подававшееся корове через специальный, оформленный в полу, люк. Сочно пропитавшаяся терпко-пряными запахами трав, поветь хранила в себе память о коротком северном лете, спасала от томительных бессонных белых ночей, когда в полночь солнце уже было в зените и сон снимало как рукой. Федор, желавший показать Людмиле все, чем дышало его детство, не мог не поднять ее на поветь – святая святых его малой поры.

Да и сон на повети был куда крепче, чем в тесной избе, где изо дня в день, даже в летнюю жару, томно топилась печь, занимающая почти четверть передней.

Отсутствие элементарных бытовых условий, имевших место даже в самом простеньком городском жилье, и, самое главное, ощущение того, что вся деревня есть не что иное, как большая семья, просто не могло не привести в замешательство человека, ее не знавшего, не вскормленного ей. «Я впервые тогда не только пила чай из самовара, но и удивлялась, что каждая еда в их семье начиналась и заканчивалась обильным чаепитием. Поразила меня и баня, небольшая по размеру, и топилась по-черному, когда весь дым и сажа оказывались внутри», – восторженно напишет Людмила Владимировна спустя многие годы о веркольских «диковинках».

Конечно, для сугубо городского человека, никогда не видевшего все эти «достопримечательности» деревенской жизни далекой северной глубинки, такое положение было поистине испытанием. В доме, состоящем из двух одна меньше другой комнат, разделенных дощатой переборкой, где жила большая семья из пяти человек, не было возможности не то чтобы на какое-то время уединиться, но и просто побыть в тишине, спрятавшись от взглядов домочадцев.

Изнуряющая дневная жара, дополненная назойливыми оводами, и неукротимое море гнуса по вечерам не давали никакого спокойствия, гнали от реки, со двора и вообще с улицы в духоту дома, окна в котором даже не имели форточек, в связи с чем изба никогда не проветривалась и крепко держала в себе запахи кухни.

5 августа, на Артемьев день, в Верколе был престольный праздник. По обычаю, гуляла вся деревня. Пели песни, плясали, водили хороводы. Застолья бушевали в каждом доме. И как положено при таких делах, на спиртное не скупилась. Гостья из Ленинграда была потрясена увиденным: «...Гуляла и веселилась вся деревня до поздней ночи. Мы тоже вместе со всеми ходили гурьбой по всей деревне... Всей гурьбой люди заходили чуть ли не в каждый дом. Поразило меня само застолье. Столы часто были накрыты до прихода гостей. Все рассаживались, начинали выпивать водку и восхищались – какое богатое застолье. А на столах зачастую кроме хлеба и водки ничего не было... Наконец, почти за полночь я сказала Федору: “ты можешь так ходить хоть всю ночь, а меня отведи домой, я больше не выдержу”».

Эти отрывистые, но очень яркие, сочные, накрепко врезавшиеся в память воспоминания о своем первом посещении Верколы Людмила Владимировна Крутикова будет хранить всю свою жизнь.

Мы не знаем, благодарила ли она тогда Федора Абрамова за «экскурсию» в этот непонятный для нее, затерявшийся среди пинежских лесов мир и думала ли она тогда, что земля Верколы станет для нее такой же близкой, как и для ее мужа. И уж тем более вряд ли могла предположить, что именно веркольская земля в далеком будущем, на изломе второго десятилетия XXI века, примет ее на вечный покой на высоком угоре с видом на реку Пинегу, по которой они плыли с Федором тем летом 1951 года.

В Ленинград вернулись уже во второй половине августа. Федор сразу включился в подготовку автореферата диссертации. Плотнo работая всю весну над текстом, он к июню все же осилил его. Обсуждение диссертации на июньском заседании сектора кафедры прошло весьма успешно. Плоткин был доволен, а зав. кафедрой Бердников высказал желание написать внутреннюю рецензию. Защита намечалась на осень.

Еще перед самым отъездом на Пинегу, по окончании аспирантуры, Федор Абрамов приказом Министерства высшего образования был принят на работу в качестве преподавателя кафедры советской литературы. Это был своего рода аванс доверия, разрешивший вопрос дальнейшего трудоустройства по направлению, которое неминуемо последовало бы после защиты диссертации. Это хоть как-то разрядило обстановку неизвестности в дальнейшей жизни Абрамова, теперь уже с Людмилой Крутиковой. Тогда стало понятно, что они оба остаются в Ленинграде.

С «семейным» жильем пока не ладилось, и он по-прежнему жил в университетском общежитии, она – у своей давней знакомой, преподавательницы филфака Ирины Сергеевны Рождественской, той самой, что крепко отличилась в усердной борьбе с космополитами.

К слову, весьма нелестную характеристику Рождественской дал Д.С. Лихачев: «Это была чрезвычайно худая (от злости?) и некрасивая, неряшливо одетая девица»\*. Конечно, мнение Дмитрия Сергеевича может быть отчасти весьма субъективным и даже предвзятым, вызванным рядом причин. Но, прежде всего,

\* Лихачев Д.С. Четвертое измерение. М.: АСТ, 2018. С. 380.

не будем забывать, что Рождественская и Федор Абрамов входили в ту самую группу, громившую профессоров-космополитов в университете и Пушкинском доме, где крепко тогда досталось и Лихачеву. И все же Рождественская, с ее сложным характером, была на тот момент в близком окружении Федора Абрамова, как, впрочем, и другие персоны, ей подобные, создававшие вокруг Федора Абрамова ореол не только страха, но и ненависти со стороны большинства. Сам же Абрамов, по всей видимости, на тот момент поглощенный усердием «мнимой» правоты, не видел вокруг себя этого негатива, а когда осознал, то было поздно: время уже накрепко вписало в его биографию этот весьма неприятный факт, которого он совестился всю свою жизнь.

А с Рождественской, скорее всего, ввиду ее тесного общения с Людмилой Крутиковой, Абрамов поддерживал дружеские отношения всю жизнь, и даже в конце 60-х годов, когда она принудительно была помещена в психиатрическую клинику, принял активное участие в ее вызволении из данного учреждения.

Итак, Федор Абрамов – преподаватель университетской кафедры советской литературы, еще не защитивший кандидатскую. Отказавшись еще весной этого года от весьма заманчивой должности заведующего ленинградским отделением «Литературной газеты», он все же предпочел научно-преподавательскую деятельность, которая была ему ближе.

В сентябре Абрамов подает автореферат диссертации на утверждение в диссертационный совет и уже 1 октября получает разрешение на допуск к защите. Оппонентами Федора Абрамова были определены доктор филологических наук профессор Григорий Абрамович Бялый и кандидат филологических наук доцент Борис Иванович Бурсов, в этом же году защитивший докторскую диссертацию. Оба – весьма значимые персоны в научном мире филологии.

Защита научной работы в то послевоенное время была действительно значимым событием и для самого соискателя, и для учебного заведения. О предстоящей защите заблаговременно сообщалось не только в печатных органах альма-матер, но и в общественных печатных изданиях – с целью большего привлечения слушателей.

Так, 19 октября 1951 года в газете «Вечерний Ленинград» появилось объявление о предстоящей защите Федора Абрамова, намеченной на 18:00 1 ноября, которая будет проходить в зале ученого совета филологического факультета Ленинградского университета.

Отметим, что кандидатская диссертация Федора Абрамова на тему ««Поднятая целина» М. Шолохова» была научным исследованием лишь первой книги романа, увидевшего свет в 1932 году. Второй же том шолоховской «Поднятой целины» выйдет только в 1959 году, когда абрамовские «Братья и сестры» уже найдут своего читателя.

Защита кандидатской диссертации прошла блестяще. Все были поражены тем, насколько глубоко Абрамов знал выбранную тему. Вопросов от оппонентов почти не последовало, а профессор Бялый во время получасового выступления диссертанта не сводил с него глаз. При докладе Абрамов не пользовался ничем, словно то, о чем он говорил, было его собственным творением.

И после обсуждения диссертации закрытое голосование ученого совета просто не могло не закончиться положительно. Не было ни одного голоса «против».



Юность №2  
Февраль 2020

# ЗОИЛ

# СЛИШКОМ ТОНКАЯ ПРОЗА?



## РОМАН СЕНЧИН

Родился в 1971 году в городе Нызыле Тувинской АССР. Онончил Литературный институт имени А.М. Горького. Проза и пьесы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Сибирские огни», «Дружба народов», «Аврора», «Урал». Автор двух десятков книг, в том числе «Ничего

страшного», «Московские тени», «Елтышевы», «Зона затопления», «По пути в Лету», «Постоянное напряжение», «Дождь в Париже». Проза переведена на немецкий, английский, французский, финский, китайский и некоторые другие языки. Лауреат премий «Эврика», «Ясная Поляна», «Большая

книга», премии Правительства Российской Федерации в области культуры. Участник Форумов молодых писателей «Липки» (2001–2006), театрального фестиваля «Любимовна» (1997, 2010). Живет в Екатеринбурге.

Эта книга — «Большие и маленькие» Дениса Гуцко, увидевшая свет в «РИПОЛ классик» в 2017 году, — прошла мимо меня. Нет, я знал, что она издана, встречал в интернете аннотации и фотографию обложки, но прочитал только недавно. Так получилось: во-первых, в моей личной жизни в том 2017-м было много перемен и переездов, а во-вторых, почти со всеми текстами, включенными в сборник, я познакомился раньше, в журналах.

Но вот прочитал их в книге и еще раз убедился, что, собранные под одной обложкой, повести и рассказы, да и статьи с рецензиями воспринимаются совсем иначе. Как правило, сильнее.

Читал медленно, не одну неделю. Проза Гуцко всегда была не для развлечения и занимания досуга, пишет он предельно плотно и густо; этот же сборник оказался для меня особенно трудным. Трудным, но необходимым. Не буду утверждать, что, пройдя через тексты «Больших и маленьких», я стал другим, хотя что-то со мной случилось. Попытаюсь понять.

Если сравнивать произведения литературы с досками, то нынче мы, как правило, имеем дело с сюжетами обрезными, а нередко и строгаными, их можно безбоязненно брать голыми, без верхонок, руками. Брать и пускать в дело и тут же чаще всего забывать. Ни сучка у них, ни задоринки: автор-мастер все обработал.

Бывают, конечно, стилистические неточности, а то и ляпы. Но это, скорее, не к сюжету, а к языку.

Язык у Гуцко отличный. Особенно в этих вещах. Некоторые написаны, на мой взгляд, идеально. На всю книгу можно набрать с десятка придириков, например, кое-где персонажи вдруг меняют имя (видимо, готовя сборник, автор кое-кого решил переименовать, чтоб тезки не перетекли из рассказа в рассказ, и пропустил) или выразительная характеристика «крепко сбитые парни» повторяется через страницу по отношению к другому персонажу — «плотно сбита женщина». Но это претензии,

по-моему, больше к редактору, который в выходных данных присутствует. Даже самый талантливый писатель в редакторе нуждается. Были редакторы и у Пушкина, и у Лермонтова, у Достоевского, Льва Толстого, Чехова. Делали замечания, придирались «по мелочам», искали «блох», вступали в переписку, приглашали в редакцию... Сейчас редактор, как и корректор, становится некоей формальностью. В выходных данных должны присутствовать, придавая изданию солидность, но в рукопись могут и не заглядывать.

Да, язык прозы Гуцно мне нравится. Я считаю, что он пишет в лучших традициях русской литературы. А сюжеты — сюжеты занозистые...

Закрыв «Больших и маленьких» (название я не понял — таковой вещи в книге нет, а трантовка, что там собраны тексты разных объемов или есть герои взрослые, а есть дети, кажется мне неубедительной), я полез в интернет. Смотреть, что о ней написали.

Состояние было тяжелое и одновременно радостное, какое обыкновенно случается у меня после чтения настоящего. И хотелось если не диалога, то мнения других о книге.

К сожалению, именно о книге, а не об отдельных произведениях, я почти ничего не нашел. Хвалебная, но очень короткая — сродни аннотации — рецензия Владислава Толстова («БайналИНФОРМ»), благожелательный отзыв Станислава Секретова в «Урале»: «Гуцно смотрит на привычное с другой стороны, задерживая взгляд на этой будничности, возможной даже в тех случаях, где она кажется немыслимой, где действие кипит. <...> Центральным персонажам новелл писателя обычно под сорок лет. Взрослые люди. И на поступок вроде способны. Только довести последствия поступка до уверенного восклицательного знака никто из героев не в силах — почти везде получается поставить лишь некрепкое многоточие. Персонажи-дети действуют куда решительнее. Иногда кажется, что именно они — большие. А взрослые — лишь маленькие люди. И в прямом, и в переносном значении этого словосочетания, столь распространенного в произведениях русской литературы. В их ряд рассказы и повести Дениса Гуцно, на мой взгляд, вполне достойно вписываются».

Присутствует упоминание непременно Александром Нузьменковым в статье «После бала» («Намертон»): «В 2017-м вышел сборник “Большие и маленькие”: мещанские драмы об изменах, поминках и пыльных офисных буднях, будто Боборыкиным или Засодимским продикированные. Народ безмолвствовал. Автор недоумевал: даже в родном Ростове-на-Дону — ни одной рецензии! А что говорить-то, коли все еще сказано еще полтора века назад. “Литературка”, впрочем, откликнулась: “Остается надеяться, что внутренняя тема Дениса Гуцно еще прорвется и позволит ему заговорить более уверенно и внятно”. Блажен, кто верует».

Ну и рецензия Александра Евсюкова в «Литературной газете», на которую ссылается Нузьменков. В ней, кажется, есть ключ к разгадке того, почему прозу, подобную той, что составляет книгу Гуцно, почти не замечают, почему о ней не говорят.

Но сначала о жанре рассказа.

Его положение в издательском мире слегка улучшилось в последние годы. Книжки рассказов и небольших повестей выходят все чаще, некоторую популярность обрели и коллективные сборники, в основном тематические, поколенческие. Случается, некоторые выбиваются в лидеры продаж. Это неплохо.

С другой стороны, премиальные институции сборники рассказов и повестей практически игнорируют; отдельные премии для «малой прозы»

давно погибли. Есть, правда, премия О'Генри, но ее вряд ли замечает большое число читателей, издателей и критиков...

При этом почти все произведения, определяемые нынче как романы, на самом-то деле являются растянутыми повестями и рассказами. Автор «Больших и маленьких» наверняка мог бы многие свои тексты довести до трехсот-четырехсот страниц, то есть до объема отдельной книги. И «Машин Бог», и «Здравствуй, нуколна», и «Происхождение», и «Сын Вальна», и «Турчин», и «Животное», и даже «Сороковины». Сделал бы новые если не линии, то ответвления, накатал бы повествование размышлениями и отступлениями, подробностями. Все это Гуцко умеет. Но тогда бы занозы стали мягче, мы бы скользили по сюжетам, а не цеплялись душой на каждой странице.

На самом-то деле сегодняшнему литературному журналисту писать о книге «Большие и маленькие» вроде как нечего. На малом объеме, предусмотренном для газетной или сетевой рецензии, не скажешь ничего определенного. Разве что оценишь, с кем-нибудь из предшественников сравнишь, сделаешь несколько замечаний, дашь коротенькую цитату.

Такую прозу должны изучать в аналитических статьях критики, а мы — наблюдать, как они постигают ее, как открывают новые грани или наталкиваются на тупики, как соотносят написанное с реальностью, как меняют свое собственное мнение. Настоящий критик в своей статье путешествует по произведению, но такие путешествия встречаются все реже, нас приучают к кратким рекомендациям: это читай, а это не читай. И еще хорошо, если будет несколько десятков строк на объяснение, почему «читай» или почему «не читай».

Рецензия Алесандра Евсюнова не рекомендательная — в ней есть зачатки анализа, хотя зачатки эти то и дело заслоняются приговорами и пожеланиями. С самого начала: «У каждого большого писателя есть своя тема. Критики нередко путают ее с антуражем. Но, конечно, автор достоверной прозы вовсе не обязан все время писать только про врачей или банковских служащих, учителей или солдат срочной службы. Однако внутри него пульсом бьется та необходимость выразить, воплотить и сделать реальным свое видение окружающей жизни, свою трантовку законов мироздания. Пожалуй, именно эта внутренняя необходимость прежде всего и побуждает к творческому росту как молодых, так и маститых авторов, отправляет их на поиск сюжетов, героев и единственно верных интонаций и слов.

А если этой внутренней темы нет? Есть многое другое: писательские «мускулы», жизненный опыт, способность к проникновению в подоплеку поступков и событий, сочувствие к таким несладким людским судьбам. <...> Но вот собрать все предпосылки воедино и выдать целостную вещь, оказывается, крайне сложно».

Далее: «Автор все время ищет не только верный тон, но и устойчивую отправную точку: «Начав бодро и как будто насмешливо рассказывать, вскоре принялась невесело чему-то удивляться, дальше и вовсе сбилась на плансивый тон». Или: «Но должно же со мной что-то происходить. Внутри. Должно же откликнуться как-то... Хотя бы подумать что-нибудь. Подобающее. Леша умер. Что-нибудь скорбное. Что-нибудь». И зачастую эта нужная точка так и не находится. «Все ее сокровенное почему-то не поддавалось пересказу»».

И в финале: «Остается надеяться, что внутренняя тема Дениса Гуцко еще прорвется и позволит ему заговорить более уверенно и внятно».

Что именно такое «своя тема», «внутренняя тема», я так до конца и не понял. Гуцко не философ, не политик, чтобы «выразить, воплотить и сделать

реальным свое видение окружающей жизни, свою трактовку законов мироздания». А кто из русских писателей в художественных произведениях сделал то, что советует Денису Гуцно рецензент? Достоевскому, Толстому, Горькому, Солженицыну, Распутину, Прилепину потребовалось для этого уйти в иные сферы и рода литературы.

Гуцно временами отдается публицистике, и там выражает «свое видение окружающей жизни», и про «мироздание» иногда говорит, в художественной литературе же он занимается, по моему мнению, именно тем, для чего она и предназначена.

А для чего, кстати? Ну, помимо того, чтобы развлекать нас в свободное время... Наверное, еще не давать душе окаменеть, снова и снова будить ее к состраданию. Потому, видимо, писатели испокон веков берут в герои в основном тех, кто несчастлив, кто проигрывает. С чего там русская художественная литература началась? Со «Слова о полку Игореве»? Ну вот...

У Гуцно была «своя тема», ясная и понятная: межнациональные конфликты в разваливающемся Советском Союзе («Апсны абукет», «Там, при реках Вавилона»), русские, оказавшиеся для России иностранцами («Без пути-следа», сокращенный затем до второй части книги «Русского-ворящий»). Потом появилась новая понятная тема: строительство оазиса игрового бизнеса в южном регионе страны («Домин в Армагеддоне»). На все эти произведения откликов хоть отбавляй — было о чем поговорить. Этаний «текст как повод». И это неплохо, правильно.

Но русская литература ценна не темами. Какие вот особые темы поднимали Достоевский, Гончаров, Толстой, Писемский? Да многие их романы (не говоря уж о рассказах) — это, по сути, развернутые анекдоты — забавные (что не одно и то же со «смешными») случаи. Свихнувшийся князь возвращается в Россию, где кипят страсти; студент, которому надоело валяться в кровати, рубит топором старуху-процентщицу; барин встает с кровати, влюбляется, а потом снова ложится; замужняя дама влюбляется в молодого офицера, а ее сверстник честно женится на приличной девушке; молодой чиновник бросает невесту и женится на богатой ради карьеры...

Вещи, собранные в «Больших и маленьких», тоже, по сути, уклады-ваются в подобные пересказы. Это намеренные истории или ситуации. Повторяю, из почти каждой можно при желании раздуть роман. Но Гуцно не стал — и, видимо, правильно сделал. Хотя технически, думаю, мог бы — у него уже есть опыт подобного раздувания. Причем удачный. «Бета-самец» (финал премии «Русский Бунер», множество откликов в прессе).

Тема тоже вроде бы анекдотическая: как поссорились бизнесмен-компаньоны из-за бабы. Но Гуцно обрастил ее мощным мясом повествования и создал чуть ли не историческое полотно. И справедливы слова Льва Данилкина, тогда еще писавшего свои замечательные миниатюры: «Первое впечатление: роман сильно выиграл бы, если бы, на манер шагреновой кожи, съезился до размеров повести. Здесь много необязательной информации, антуража, диалогов, флешбэков — которые чересчур здравомыслящий редактор вырезал бы к чертовой матери. С другой стороны, «Бета-самец» как раз и есть тот самый «реализм-который-триумфально-вернулся» под аплодисменты читателей, которых тошнило от «литературных игр». Реализм в самой химически чистой, «олдскульной» версии — это, по сути, означает, что роман Гуцно не столько беллетристика, которую можно читать для своего удовольствия, сколько документ эпохи».

Правда, по-настоящему пронзительных страниц в романе оказалось мало, везде по ходу чтения помнишь, что это персонажи, а не реальные

люди, что ты именно читаешь, а не наблюдаешь живую жизнь. В «Больших и маленьких» ощущение живой жизни почти непрерывно, и потому я часто прерывался, откладывал книгу, переживал то волнение, то отвращение, то вспухающий внутри ком сочувствия... Это как смотреть документальный или отлично снятый под документальный художественный фильм. Нужны перемены, перемены, а то не выдержишь...

Взволновала меня и рецензия Александра Евсюнова. Слишком сильной рассудочностью, что ли, холодной назидательностью, трезвым снисхождением. Да, но и еще чем-то... Что-то очень она мне напомнила.

Вспоминал несколько дней, бесцельно блуждал по интернет-библиотекам (домашняя у меня теперь, в силу жизненных обстоятельств, очень скромная) и в итоге наткнулся: да ведь практически так же писал критик Михайловский о рассказах Чехова: «Выбор тем г-на Чехова поражает своею случайностью. Везут по железной дороге быков в столицу на убой. Г-н Чехов заинтересовывается этим и пишет рассказ под названием “Холодная кровь”, хотя даже понять трудно, при чем тут “холодная кровь”. Фигурирует, правда, в рассказе один очень хладнокровный человек (сын грузоотправителя), но он вовсе не составляет центра рассказа, да и вообще в нем никакого центра нет, просто не за что ухватиться. Почту везут, по дороге тарантас встряхивает, почтальон вываливается и сердится. Это — рассказ “Почта”. Зачем он мне? Не мне лично, конечно. <...> От “Почты” никому, решительно никому ни тепла, ни радости, хотя именно в этом рассказе бубенчики так мило пересмеиваются с колокольчиками. И рядом вдруг “Спать хочется” — рассказ о том, как тринадцатилетняя девчонка Варька, состоящая в няньках у сапожника и не имеющая ни минуты покоя, убивает порученного ей грудного ребенка потому, что именно он мешает ей спать. И рассказывается это тем же тоном, с теми же милыми колокольчиками и бубенчиками, с той же “холодной кровью”, как и про быков или про почту, которая выехала с одной станции и приехала на другую...»

Правда, Михайловский писал именно статьи, путешествовал по книгам, и этот абзац — не приговор Чехову, а этап размышлений о его прозе. Но здесь выражена концентрированная и обобщенная претензия большинства современных Чехову литспециалистов к тому, что и как он писал...

Произвольный выбор тем, а в итоге — бестемье, отсутствие идеалов, равное нежеланию трантовать законы мироздания и демонстрировать свое видение окружающей жизни, одинаковый тон повествования.

Публично Чехов критикам не отвечал, зато в письмах родным и приятелям не сдерживался: «Не понимаю, для чего все это пишется. Снабичевский и Н° — это мученики, взявшие на себя добровольно подвиг ходить по улицам и кричать: “Сапожник Иванов шьет сапоги дурно!” и “Столяр Семенов делает столы хорошо!” Ному это нужно? Сапоги и столы от этого не станут лучше. Вообще труд этих господ, живущих паразитарно около чужого труда и в зависимости от него, представляется мне сплошным недоразумением».

А иногда — по старой традиции русских литераторов — заявлял, что критики не существует вовсе: «Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу?. Будь же у нас критика, тогда бы я знал, что я составляю материал — хороший или дурной, все равно, — что для людей, посвятивших себя изучению жизни, я так же нужен, как для астронома звезда. И я бы тогда старался работать и знал бы, для чего работаю. Исчезла бесследно масса племен, религий, языков, культур — исчезла потому, что не было историков и биологов. Так исчезает на наших глазах масса жизней и произведений искусств, благодаря полному отсутствию критики. Снажут, что критике у нас нечего делать, что все современные

произведения ничтожны и плохи. Но это узкий взгляд. Жизнь изучается не по одним только плюсам, но и минусам. Одно убеждение, что восьмидесятилетие не дали ни одного писателя, может послужить материалом для пяти толстых томов».

Чехов со своим багажом повестей, рассказов, пьес, очерков оказался нам, изучающим жизнь, необходим. Так же необходим и Гуцно. Может быть, это поймут не сегодня; но и современники Чехова не очень-то жаловали, и на большинство его произведений — особенно на тонкие, без пресловутой «темы», — «профессиональные критики» не отзывались. Зато отзывались «простые люди». В письмах ему, в переписках между собой, в дневниках.

Сегодня интернет позволяет любому обнародовать свое мнение. И на разных форумах о «Больших и маленьких» написано немало. Приведу одно высказывание — кажется, очень искреннее и точное: «Я открыла для себя прозу Гуцно через эту книгу и теперь завидую сама себе: ведь это не первая его книга, я могу взять предыдущие в библиотеке (не все есть в продаже, к сожалению) — и читать, читать! Абсолютно мой автор. Такое чувство, как будто я долго ждала именно этих рассказов, именно этой интонации, именно этих тем. Я брала одну современную книгу, другую, третью; вдруг стало казаться, что все любимые писатели уже найдены, а новые еще когда появятся!.. И вот оказывается, что все это время Денис Гуцно уже был, писал, издавался, только каким-то образом это прошло мимо меня.

Проза очень сильная, очень честная. О современных людях, провинциальных жителях. Героем рассказа мог бы стать ты сам или твой сосед, поэтому все сюжеты очень близки, очень понятны, все вызывает сочувствие. Каждый ищет счастье, каждый пытается сделать свою жизнь осмысленной, но проза жизни подавляет эти попытки, возвращает к быту, к кругу семьи, откуда персонажи зачастую пытаются вырваться. Написано с мастерством. Психологически рассказы очень глубоки, очень верны, удивительно точны. Спасибо автору!»

Не стану приводить образцы художественного языка Гуцно, «интонации», хотя на многих и многих страницах книги я отмечал отличные фрагменты. Советую прочесть зачин повести «Происхождение», этот первый абзац, и вы наверняка не оторветесь. Хотя вряд ли с ходу переметнетесь к следующей вещи. Скорее всего, вам понадобится прийти в себя, подумать, пережить прочитанное. Это не очень приятное состояние, но оно человеку необходимо. Проза ли его вызывает, устный рассказ попутчина в ночном поезде, ваш ли собственный опыт — не так уж важно. Но сейчас мы говорим о прозе...

Михайловский в статьях подробно пересказывал содержание чеховских произведений. Я делать этого не буду. Нынче не любят спойлеры, к тому же не в содержании суть, не в сюжетах. Да, это истории и ситуации из современной, реальной жизни, и персонажи абсолютно живые. Сложные, многогранные, иногда непонятные. Как непонятны порой мы сами себе в своих поступках, мыслях, желаниях, настроениях. Мы все загадки, и Гуцно один из тех, кто пытается показать нас такими, какие мы есть. Не разгадать, не препарировать, а именно показать.

Нто-то не хочет смотреть, кто-то, как автор приведенной выше цитаты, до недавнего времени не знал, что такой писатель есть. И не только он. Есть по России Анна Андропова, Юрий Лунин, Наталья Мелехина, Борис Енимов, Алексей Серов, Андрей Антипин... Немало их, но проза их слишком тонка, при необычайной плотности, чтобы быть на виду. Не знаю, в чем причина этого андеграунда. Впрочем, пестрое всегда привлекательней, пусть оно и позавбавит глаз каких-нибудь два часа между ужином и сном. И наутро забудется.



# ДЕТСТВО В «ЮНОСТИ»

# В ПАРИЖ! В ПАРИЖ!



АННА ХРУСТАЛЕВА  
Журналист, прозаик. Родилась в Таллине. Окончила филологический факультет Московского государственного областного университета. Автор статей по истории литературы, образованию, театральным и кинорецензий, опубликованных в российских

и зарубежных СМИ. Рассказы публиковались в сборниках издательства «ЭНСМО». Лауреат премий «Золотое перо» (Международный фестиваль искусств «Славянский базар») и «Образование в зеркале прессы». Живет в Москве.

31 декабря 1836 года Александр Сергеевич Пушкин проснулся рано. Настроение у него было преотличное. Весело насвистывая, он оделся, умылся и выпил чаю. Подумал немного и съел целую тарелку моченой морошки. И снова выпил чаю. Постоял у окна, с интересом наблюдая, как по набережной Мойки тянется на биржу извозчик и с кувшином охтенка спешит. Затем набросил на плечи шубу — все ж таки не май месяц — и поехал во дворец.

Там застал он предпраздничный переполох, не вообразимый в иное время. Придворные где-то растеряли всю свою чопорность, катались по перилам и смеялись в голос, ну прямо как дети. Даже гвардейцы у дверей — и те напевали под нос нечто легкомысленное. «Я помню чудное мгнове-е-енье», — разобрал Пушкин, проходя мимо очередного великана.

Посреди тронной залы на приставной дубовой лестнице стоял царь. Сдвинув корону на затылок, он развешивал игрушки на гигантской елке. Царица, засучив рукава красивого шелкового платья, пересчитывала свертки с подарками: ein, zwei, drei... vierundfünfzig\*... Вокруг сновали восторженно-румяные царевичи и царевны в карнавальных костюмах золотых рыбок, звездочетов, богатырей и ткачих с поварами.

— Ба! Пушкин, ты ли это?! — воскликнул царь, увидев поэта. — Заходи, гостем будешь. Неужто пришел царя-батюшку с наступающим Новым годом поздравить?!

Проворно спустившись с лестницы, царь обнял гостя так крепко, что у того кости затрещали.

— Да, Ваше Величество, именно так, вот и подарок принес к праздничку — морошку моченую!

\* Один, два, три... пятьдесят четыре...

Если, брат Пушкин, такая уж на тебя охота странствовать напала — прокатись до Архангельска или вот хоть до Иркутска — Россия большая! Что ты потерял в этой своей Европе?

- Ту самую?! На весь Петербург знаменитую?! — Царь от радости прищелкнул наблунами, изобразив некое подобие чечетки, но тут же вспомнил, что царям чечетку бить не к лицу, а потому сделал вид, будто просто стряхивает с сапог налипшие елочные иголки. — Ай да Пушкин! Ай да молодец! Вот можешь же, если захочешь. А то все: «Ты царь: живи один!» и прочие обидности. Ну, давай, раз такое дело, проси чего хочешь! Ничего для тебя не пожалею!
- Ничего-ничего? — осторожно уточнил Пушкин.
- Ни-че-го-шень-ки! Вот тебе мое нерушимое царское слово!  
Пушкин набрал полную грудь воздуха, зажмурился и выпалил, словно боясь передумать:
  - Отпусти меня в путешествие по Европе, царь-батюшна...  
Воцарилась тишина. Мы сказали бы — гробовая, да с нашим праздничным рассказом эта мрачность как-то не вяжется. Поэтому давайте просто: воцарилась тишина. Царица перестала считать подарки. Царевичи и царевны застыли как вкопанные. Даже свечные огоньки — и те уже не потрескивали.
  - Так-так-так, — процедил царь. — Вот ты, значит, как...  
Сердито покрутил ус. Поправил корону. Обиженно засопел.
  - Если, брат Пушкин, такая уж на тебя охота странствовать напала — прокатись до Архангельска или вот хоть до Иркутска — Россия большая! Что ты потерял в этой своей Европе?
  - Не хочу в Иркутск! Хочу в Европу, — упрямо мотнул головой Пушкин.
  - Mon cher\*, да отпусти ты его — ведь не успокоится же! — проворновала царица мужу на ухо.
  - Да, батюшка, отпусти! — воскликнула старшая царевна. — А месяц Пушкин за границей новый роман напишет. Про любовь!
  - Да кому нужна эта любовь! — перебил ее самый бойкий из царевичей. — Господин Пушкин, сочините там что-нибудь про рыцарей, про приключения, про погони!
  - А лучше сказку, — пискнула младшая царевна в костюме Золотой рыбки.
  - Будь по-вашему, — махнул рукой царь. — Точно в Иркутск не хочешь? — на всякий случай уточнил еще раз.
  - Это всегда успеется, — глядя куда-то в сторону, заметил Пушкин.
  - Ну, раз так, то вот тебе моя царская воля: отправляйся, брат Пушкин, в путь — людей заморских посмотри, себя покажи и без нового сочинения не возвращайся!

\* Мой дорогой (фр.).

Поэт низко поклонился великодержавному семейству. Повернулся и вышел, не сказав ни слова (что, между нами, было с его стороны, конечно, не очень вежливо). А следующим утром почтовые лошади уже мчали его прочь из Петербурга в сторону Парижа.

\* \* \*

Оказалось, что Париж очень похож на Петербург. Те же величественные дворцы по соседству с убогими лачугами, те же каменные мосты через широкую реку, та же суэта и людская круговерть. Похож-то похож, да, однако, не совсем. Говорили тут громче и громче смеялись. И не только по праздникам. Пушкин никак не мог решить, нравится ему это или нет. А еще здесь не было снега. На календаре январь, а на могучих каштанах, стороживших бульвары, заложенные еще при «короле-солнце», уже набухали почки, готовые вот-вот прыснуть клейной листвой. Под одним таким каштаном и произошла встреча, о которой мы вам сейчас незамедлительно и поведаем.

29 января 1837 года, в районе полудня, Пушкин прогуливался по бульвару. Хотя «прогуливался» — слишком громко сказано: в этот час тут было так многолюдно, что дорогу себе приходилось иногда прокладывать лонтями. «Вот ведь понаехало туристов, — не без раздражения думал поэт, проживший в Париже уже целую неделю, а потому чувствовавший себя здесь совершенным старожилом. — Медом им тут, что ли, намазано?!» Он уже было решил свернуть в узкую боковую улочку, но, как говорится, быстро сказка сказывается, да несноро дело делается. Пришлось пустить в ход тяжелую трость, которая всегда была при нем, как вдруг...

- Дьявол! — взвыл от боли какой-то прохожий, которого Пушкин весьма бесцеремонно стунул тростью по ноге. — С ума вы спятили, что бросаетесь на людей?
- Простите, не хотел потревожить, — извинился поэт и уже собирался нырнуть в узкий просвет между затянутыми в пальто и плащи спинами, как могучая рука — не рука, а настоящая лапища — больно сдавила его плечо:
- Глаза вы, что ли, забываете дома, когда выходите на бульвар?!
- Сударь, я ведь, кажется, извинился. — Пушкин подбоченился и смерил невежу холодным взглядом сверху вниз (насколько это вообще возможно, если верхний край твоего цилиндра упирается грубияну в подбородок). — Я сказал «простите» и, если вам так угодно, повторю это еще раз.
- Вы говорите «простите» и считаете дело исчерпанным? Не совсем так, молодой человек, — не унимался великан. — У нас, в Париже, так дела не делаются, сразу видно, что вы приезжий! Жду вас через час возле монастыря Дешо. Там я научу вас хорошим манерам.
- Это вызов? — Пушкину наконец удалось сбросить с плеча громадную ручищу, и теперь он не без любопытства рассматривал своего неожиданного противника. Перед ним высился человек-гора примерно одних с ним лет, темноволосый, нудрявый, с толстыми губами и небольшими, но невероятно пронизательными глазами. — Да бросьте вы, сударь! У меня было тридцать дуэлей, я и сам уже все не припомню, ученые-пушкинисты — и те со счета сбились.
- Тридцать дуэлей?! — заинтересовался толстогубый. — Откуда ж вы прибыли к нам, неужто из Гаскони?!

- Из России, сударь, — улыбнулся Пушкин. — Это почти Гасконь, только чуть севернее.
- Вот это да! — расхохотался толстяк. — Прямоном из России?! Что ж вы сразу не сказали! Это многое объясняет. Бог с ним, с монастырем Дешо, пойдемте лучше пропустим по чашке горячего шоколада с круассанами — клянусь Святой Пятницей, вы таких круассанов в своей России и не видали. Тут недалеко — на улице Старой Голубятни. Ну, не отставайте. — Не дождавшись ответа, он схватил Пушкина за руку и пошел с восток толпу, как груженная баржа против течения.

\* \* \*

- Я ж не представился, — хлопнул себя по лбу человек-гора, от чего его пыльная шевелюра наполнилась сдобными крошками, будто муравейник муравьями. — Александр Дюма. Драматург. А с недавних пор еще и романист.
- Александр Пушкин. Поэт. Драматург. Романист, — улыбнулся Пушкин, отправляя в рот очередной круассан.
- Тезка! — возлиновал Дюма. — Да еще и коллега по цеху. Ну надо же! Потом они немного помолчали, блаженно прихлебывая горячий шоколад и наблюдая за хорошенькими дамами, проплывающими мимо.
- И о чем ваши романы, позвольте полюбопытствовать? — вновь заговорил Дюма.
- О разном. О благородных и не очень благородных разбойниках, о любви, конечно же, и о том, что честь нужно беречь смолоду.
- Ну прям как у меня! Точь-в-точь.  
И снова помолчали.
- А со стариной Гюго вы уже познакомились?
- Нет еще.
- И нечего — зануда, на них мало! Будет размахивать у вас перед носом своим смучнейшим «Собором Парижской богородицы» и талдычить, как заведенный: «Бэль! Бэль!»
- А вы, друг мой, над чем нынче трудитесь? — поинтересовался Пушкин, чтобы свернуть со скользкой дорожки злословия.
- Разыскиваю сюжет, — вздохнул толстяк, облизывая пальцы, перепачканные абрикосовым конфитюром. — Роюсь в архивах, пытаюсь найти в вековой пыли что-нибудь эдакое, захватывающее, чтобы кровь в жилах и стыла, и кипела, чтобы читатель и плакал, и смеялся, и требовал продолжения!  
Пушкин на мгновение задумался, почесал кончик носа, пару раз довольно хмыкнул и поманил Дюма пальцем, чтобы тот подсел поближе:
- Вот вам сюжет! Провинциал приезжает в Париж, да хоть бы и из Гаскони, в поисках денег и славы...
- Бросьте, друг! — тут же запротестовал Дюма. — Старик Стендаль уже написал этот душевспасительный роман. «Красное и черное» называется. Не читали? И не читайте! То есть читайте, конечно, но только после моей «Изабеллы Боварской», чтобы было с чем сравнивать...
- Да подождите вы, — весело отмахнулся Пушкин. — Вы же не дослушали! Наш с вами гасконец беден, как церковная мышь! Все его богатство — жалкая кляча невообразимого желтого цвета, шпага да завет отца. Да-да, завет: береги честь смолоду!

А помешает – златокудрая красавица злодейка, – предложил Пушкин, вновь подманивая голубей. – Кстати, бывшая жена одного из мушкетеров. О! Это страшная женщина, я бы на вашем месте отрубил ей в финале голову.

Дюма опять хотел возразить, но Пушкин предостерегающе поднял палец:

- Но, заметьте, этот юный задира вызовет на дуэль любого, кто осмелится усомниться, что он в состоянии купить Лувр! Да что там Лувр — Париж! Всю Францию, если ему заблагорассудится.
- Продолжайте, прошу вас. — Дюма нетерпеливо заерзал, судя по всему, история начала его по-настоящему увлекать. — И что же было дальше?
- В первый же день наш бедный гасконец умудряется поссориться сразу с тремя блестящими королевскими мушкетерами, и те его, конечно же, вызывают на дуэль!
- К монастырю Дешо, полагаю, — расхохотался Дюма.
- Именно, мой друг, именно! Но дуэль не состоялась!
- Что же им помешало? Неужто brave мушкетеры пригласили мальчишку на шоколад с круассанами? — От смеха Дюма уже начал икать.
- Нет, давайте придумаем причину более героическую, — предложил Пушкин. — Например, дуэлянтов попыталась арестовать полиция.
- Гвардейцы кардинала Ришелье!
- Ну, пусть будут гвардейцы. Однако наши мушкетеры и примкнувший к ним гасконец были не намерены сдаваться без боя — и не сдались, а обратили гвардейцев в бегство, посылая им вслед обидные ругательства.
- Тысяча чертей, мне это нравится! — восторженно прорычал Дюма.
- Потом наши герои крепко подружились и оказались втянуты в какую-нибудь дворцовую интригу.
- Нам не хватает женщин!
- Будут и женщины, друг мой нетерпеливый, — тонко улыбнулся Пушкин. — Королева Франции подойдет вам на роль женщины?
- Она в опасности, и ее нужно спасти во что бы то ни стало! — Дюма хлопнул кулаком по столу.
- Как вариант, — согласился Пушкин. — Представим, что она по неосторожности подарила какую-то драгоценность своему возлюбленному, королю донесли, и теперь Ее Величеству грозит бесчестие.
- И вот тут-то и появляются наши красавцы-молодцы! — завопил Дюма столь зычно, что голуби, чинно обедавшие крошками у его ног, испуганно разлетелись кто куда. — Им нужно в считанные дни добыть эту драгоценность — мм... допустим, алмазные подвески — и вернуть их королеве. А поможет им в этом премиленькая служанка Ее Величества, в которую наш гасконец без памяти влюблен.
- ...А помешает — златокудрая красавица злодейка, — предложил Пушкин, вновь подманивая голубей. — Кстати, бывшая жена одного из

мушкетеров. О! Это страшная женщина, я бы на вашем месте отрубил ей в финале голову.

- Но только после того, как она отравит хорошенькую служанку королевы — идет?
- По рукам, — рассмеялся Пушкин и блаженно откинулся на спинку стула.
- И что, вы действительно дарите мне этот сюжет? Просто так? Может, все же себе оставите? — на всякий случай уточнил Дюма.
- Ой, да я вас умоляю, — зевнул Пушкин. — Знаете, сколько сюжетов я за свою жизнь раздарил?! И не сосчитать. Слышали, может, про такого писателя — месье Гоголя? Дивную пьеску сочинил — «Ревизор» называется. О пройдохе, которого в маленьком городишке принимают за важную птицу. Это я ему сюжет подкинул. И вот еще один, про мошенника, который колесит по стране и скупает у помещиков давно умерших крестьян, чтобы заложить их в банк и получить деньги как за живых. Только вот не знаю, воспользуется ли этот ленивец моим гениальным сюжетом или нет, но то уже не моя печаль.

Зимнее солнце клонилось к закату, когда новоиспеченные друзья наконец расстались, весьма довольные друг другом. На прощание Пушкин пригласил Дюма в Россию, пообещав, если тот приедет, подарить ему еще один блестящий сюжет: про молодую француженку, отправившуюся в Сибирь вслед за своим женихом-бунтовщиком.

Поэт свернул за угол, как вдруг услышал за спиной громкий топот: его догонял запыхавшийся от быстрой ходьбы Дюма.

- Я же самое главное у вас не спросил, друг мой! Как вам наши круасаны?!
- Сударь, они превосходны, — засмеялся Пушкин. — Будете в Петербурге — отплачу вам той же монетой: угощу моченой моршковой, достойной лишь царей и великих писателей.





# ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

# ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРИ СЕБЯ



СОФИЯ АГАЧЕР

*Продолжение. Начало в № 6–12  
за 2018 год, № 1–12 за 2019 год*

- Простите, София, а у вас нет с собой фотографий вашего отца? – мягко прервала меня хозяйка дома.
- Да, конечно, – ответила я, достала свой мобильный телефон, нашла фотографии папы и протянула их Марии.  
Она внимательно разглядывала фото и тихонько нежно что-то шептала по-польски.
- Знаете, Ларс, не могу себе простить, что тогда не выполнила просьбу отца и не отвезла его во Францию, – обратилась я Ларсу, боясь потревожить Марию. – Потом папа заболел и умер.
- Ничего, скоро я приду к своему Базылю, и Великая Богиня Фрея соединит нас опять в своем прекрасном замке Сессрумнир, – спокойно и радостно произнесла Мария. – Наверное, не только я, но и моя прапрапрабабушка была женой викинга, ведь я не боюсь смерти, боюсь потерять человеческий облик и стать в тягость всем и себе. Когда я была совсем маленькой, рядом начали умирать знакомые дедушки и бабушки с соседних ферм. Взрослые мне что-то врали, но я догадалась, в чем дело, и придумала, что я маленький воин с копьем наперевес, и если что, то я просто так не дамся, а потом

выяснилось, что копье годится еще много для чего. Простите, София, я очень устала и хочу побыть одна со своими воспоминаниями. До свидания, я и Ларс всегда будет рады видеть вас в нашем доме. Да, возьмите свой телефон и пояс.

Мария опустила руки на колени и закрыла глаза. А мы с Ларсом молча вышли из дому и побрели вверх по улочке Христиании. Шли молча, каждый думал о своем. Навстречу нам попадались редкие прохожие, равнодушно кивавшие головой Ларсу. Так мы добрались до ворот с надписью «Выход в реальность».

– Здесь граница между Христианией и Копенгагеном. Я рад вам, Софи! Вы приехали в Копенгаген и нашли здесь свою персональную сказку для взрослых. Почему-то я уверен, что завтра вы летите в Лондон, где вам надо обязательно встретиться с Джекобом Петрофф. Я позвоню ему и попрошу рассказать побольше о поясах и ведуньях-пряхах. До свидания, ждем вас с мамой в гости. – Ларс протянул мне на прощание картонный квадратик с телефоном Джекоба.

Я же не удержалась и обняла его, вытерла выступившие на глазах слезы и быстро пошла по направлению к метро. «Интересно, как он догадался, что завтра я лечу в Лондон?» – совсем не удивившись, подумала я.

## Картинка 21. Слоеный пирог

Маршрут: салон самолета – «Тауэр» – Гринвич – Вестминстерское аббатство и часовня Св. Георгия – магия растений – Боро-маркет

Откинувшись на спинку кресла самолета британской авиакомпании, я смотрела в окно на густой ковер облаков и думала о том, как мало мы знаем о жизни своих близких вне семьи и дома. Мое путешествие с «гадючим» поясом рассказало мне о моем отце и семье больше, чем все мое детство, проведенное под крышей родительского дома. Да, надо обязательно бывать в тех местах, где прошла жизнь твоих родителей, встречаться и разговаривать с людьми, которые их знали, пока они еще живы, и тогда пояс твоей собственной судьбы станет для тебя более понятным. В этих путешествиях и встречах мы находим ключи к самому себе. Вдруг вспомнилось, как перед самым отъездом из Гомеля я споткнулась и упала прямо на улице. Правое колено болело нестерпимо, распухало и меняло цвет прямо на глазах. «Неужели перелом?! Надо сделать рентгеновский снимок!» – подумала я тогда и поковыляла в поликлинику. Снимок был сделан, и я ожидала в коридоре результатов. Из рентген-кабинета вышла немолодая женщина в белом халате и направилась ко мне.

– Здравствуйте, а я вас знаю, Софья Васильевна, хотя лично мы никогда не были знакомы. Вы дочь моего учителя Василия Николаевича, и ваша фотография всегда стояла на его рабочем столе, – произнесла она. – Удивительный человек был ваш отец! Потрясающий врач-рентгенолог! Сейчас таких специалистов уже нет. Всю жизнь проработал в онкологии. Это сегодня есть магнитно-резонансные и компьютерные томографы, а 40 лет тому назад, чтобы правильно поставить диагноз, рентгенолог работал непосредственно у больного под жесткими рентгеновскими лучами, наблюдая в маленький экранчик рентгеновского аппарата, что происходит в организме человека. Когда я рассказываю своим студентам о том, что врач-рентгенолог не сидел удаленно в полностью экранизированной от излучения комнате, а был рядом с пациентом, защищенный лишь свинцовым фартуком, они смотрят на меня как на сумасшедшую. Ваш отец был очень добрым человеком и никогда не мог отказать больному в помощи, поэтому делал обследований обычно в два раза больше, чем было положено. Я помню его бронзовые, покрасневшие от радиационного загара руки.

И еще он очень любил вас и гордился вами... Извините, но когда я прочитала вашу фамилию и от-

чество, я подумала, что, возможно, вы дочь Василия Николаевича, и мне захотелось с вами познакомиться, вспомнить о вашем отце... Да, перелома у вас нет, просто поддержите лед и старайтесь не перегружать ногу. До свидания. – Доктор протянула мне белый листок с медицинским заключением и ушла.

А я так и осталась сидеть, не успев вымолвить ни слова. Что мы знаем о своих родителях? Какими они были в жизни вне дома? Оказывается, мой папа хранил мою фотографию у себя на работе, а мне казалось, что он все время занят и ему нет до меня никакого дела. Каждый день он совершал подвиг, спасая людей и рискуя своим здоровьем. У него страшно болели руки, покрытые радиационными ожогами, а он никогда не жаловался. Зато я постоянно обижалась на него за то, что он не играл со мной и не читал мне сказки. Детские обиды, как они коречат психику и влияют на судьбу человека! Прости меня, папа!

- Я вот тоже смотрю на эти облака, которые наш самолет, движущийся со скоростью 900 километров в час, медленно и с трудом обгоняет, и думаю о том, что находимся мы над Землей, несущейся с чудовищной скоростью во Вселенной, – услышала я приятный мужской голос, прервавший течение моих мыслей. – Вы летите в Лондон? Хотя, конечно, идиотский вопрос, ведь выйти на остановке из самолета нельзя. Да, чем выше скорость, тем меньше вероятность без катастрофических последствий изменить маршрут. Меня зовут Гарри, прошу не путать с королевским внуком, хотя я тоже в прошлом военный летчик.
- Очень приятно, меня зовут Софи, и я лечу в Лондон, – ответила я своему соседу по креслу, обрадовавшись возможности поболтать и скоротать предстоящие два часа полета.
- Впервые летите в столицу Соединенного Королевства? – продолжил разговор мой новый знакомый.
- Нет, но последний раз в Лондоне была двадцать лет тому назад. Наверное, он очень изменился, могу не узнать, – ответила я.
- Конечно, изменился, появились «Терка», «Уоки-токи», «Корнишон», «Осколок стекла» и «Лондонский глаз», а «Тауэр», Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство и Виндзор на месте, – скороговоркой продолжил он.
- Ничего не поняла из первой части вашего предложения, – растерялась я.
- О, это очень просто, «Терка» – это небоскреб «Лиденхолл», его так окрестили лондонцы за

- то, что по внешнему виду это здание напоминает терку для сыра. «Уоки-токи», или «Рация», – это тоже высотное здание, построенное в 2013 году в лондонском Сити, кстати, со стеклами на этом здании так нахимичили, что солнечные лучи, преломляясь в них, плавят машины, стоящие во круг. «Корнишон» – это такой огромный зеленоватый сорокаэтажный «огурец» в том же районе, хотя официально он именуется башня «Мэри-Экс». «Осколок стекла», или «Шард», – это здание выше 300 метров у Боро-маркета, а «Лондонский глаз» – огромное колесо обозрения на южном берегу Темзы, поставили временно, как, впрочем, и когда-то Эйфелеву башню, ну и история опять повторяется, теперь будет стоять долго и стало символом Лондона для туристов, – слегка язвительно болтал Гарри.
- Да, судя по названиям, лондонцы не очень жалуют небоскребы, особенно в центре Лондона, что, в общем-то, неудивительно, – улыбнулась я, вспомнив, как москвичи называют высотные здания, построенные в последние двадцать лет в Москве, из которых «Карандаши» было самым цензурным.
  - К хорошим новостям, – абсолютно серьезно уточнил Гарри, – относится то, что «Тауэр», как и почти тысячу лет назад, находится на месте, и вороны величественно вышагивают по его зеленым лужайкам.
  - Да, я помню эту легенду, что пока живы тауэрские вороны – жива Англия, – решила я блеснуть своими познаниями истории.
  - Учитывая, что основателем «Тауэра» считается Вильгельм Завоеватель, или Гильом Бастард, единственный и незаконнорожденный сын правителя Нормандии – Роберта Дьявола, принадлежавшего к нормандской династии, то легенда о воронах, скорее всего, связана с германоскандинавской мифологией. Ведь верховным богом норманнов, или викингов, был Один, и его сопровождало два ворона, так что вороны – это птицы бога викингов, или королевские вороны. И легенда гласит о том, что пока живы тауэрские вороны – жива монархия, ведь все английские королевские династии, включая ныне существующую Винздорскую, имеют единого предка Вильгельма Завоевателя, – спокойно и четко, как заправский гид, отчеканил Гарри.
  - В Копенгагене мой друг Ларс, большой знаток быта данов, рассказал мне, что жены викингов, ожидавшие своих мужей из походов, очень боялись прилетающих воронов и всегда кормили их лучшим мясом, чтобы откупиться от беды и плохих вестей, – продолжила я.
  - О, тауэрских воронов тоже кормят отборным мясом, они имеют имена норманнских и кельтских богов и всем своим величественным видом вызывают такое уважение у окружающих, что так и хочется обратиться к ним «сэр». И потом, по сути вы верно подметили, для нас, англичан, монархия и Англия неразрывно связаны между собой, пока жива монархия – существует Соединенное Королевство. Мы искренне любим Ее Величество Елизавету II, Божьей милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных ее владений и территорий Королеву, Главу Содружества и Защитницу Веры, – без запинки отрапортовал мой попутчик.
  - Потрясающе! – воскликнула я.
  - Мы, жители Соединенного Королевства, чтим традиции и стараемся не разрушать свои корни, в том числе и нормандские. Вы, конечно, знаете, что часовня Святого Георгия в Винздоре – это орденовая церковь, где за каждым рыцарем Благороднейшего ордена Подвязки закреплено место, а под сводами можно лицезреть рыцарские гербы. Во дворце бога Одина у каждого павшего в бою было свое место, копьё и меч.
  - Во многих храмах, особенно Северной Европы, щиты и гербы славных родов находятся внутри храмов. Хотя, насколько мне помнится, кавалерами ордена Подвязки после XVI века все больше становились дипломаты, а не воины. Меня поразило расположение портретов в зале Ватерлоо Винздорского замка – в самом центре портреты королей и дипломатов, а портреты выдающихся полководцев – по углам. Так что нормандские традиции воинства сильно трансформировались за последние пятьсот лет в традиции английской дипломатии, – вспомнила я факт, почему-то поразивший меня двадцать лет тому назад.
  - Знаете, Соединенное Королевство и его столица Лондон напоминают мне этакий слоеный пирог, состоящий из различных эпох, традиций и культур, которые до сих пор существуют и практически не смешиваются друг с другом. Вы меня понимаете? – воскликнул Гарри.
  - Конечно, выпускник Кембриджа не будет общаться с жителями бедных и опасных юго-восточных районов Лондона. Я понимаю, – буркнула я.
  - В общем-то, правильно, хотя есть места, куда приходят жители из любого слоя «английского пирога». Очень рекомендую в субботу посетить Боро-маркет и отведать настоящих английских

пирогов и, конечно, встретиться с представителями практически всех социальных слоев и культур, не побоюсь этого слова, нашей планеты. О, загорелось табло «Застегнуть ремни», похоже, скоро будет Гатвик. Мы остаемся в восточном полушарии и Гринвич не пересекаем. Не люблю я на самолете шляться через Гринвич!

- Почему? – удивилась я, вспомнив металлическую полосу, проходящую по мощеному двору и под стеной старого здания Королевской обсерватории, разделяющую Восточное и Западное полушарие, откуда велся отсчет часовых поясов.
- Вы разве никогда не замечали, что лететь на восток всегда тяжелее, чем на запад? Ведь на восток мы летим в будущее, где никогда еще не были, а когда перемещаемся на запад, то возвращаемся в прошлое, а прошлое мы уже пережили. Так что Гринвичский меридиан – это единственное, можно сказать, место между прошлым и будущим. И в этом тоже символизм Лондона – города, который существует исключительно в настоящем.

Наш разговор прервал толчок от касания шасси о посадочную полосу, с натугой зашумели двигатели, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Гатвик. Сняв с багажной ленты свой многострадальный чемодан, я направилась согласно указателям к железнодорожному экспрессу до станции Виктория. Это самый удобный и быстрый путь к историческому центру Лондона. На вокзале Виктория я все же взяла знаменитый английский кэб для себя и своего чемодана и двинулась в район Менда Вейл, или, как его еще называют «маленькая Венеция». Здесь у берегов многочисленных каналов были пришвартованы живописные баржи с часто встречающимися изображениями Веселого Роджера, возможно, здесь до сих пор живут потомки пиратов и любителей морских приключений. Вокруг каналов простирались многочисленные частные сады и скверы. Да-да, не удивляйтесь, именно частные. Казалось бы, огромный город – камень один вокруг, а нет, каждый клочок земли бережно сохраняется и возделывается жителями Лондона.

Знаменитые английские сады – естественные и мягкие, где не ощущается активное вмешательство человеческих рук. В них как будто сама природа работает садовником. Возможно, умение управлять миром не только силой, но и при помощи искусства преподнесения своих интересов как необходимых и приемлемых для других англичане унаследовали от друидов, владевших магией растений. А оттачивалось и поддерживалось это искусство дипломатии в том числе и кропотливой работой в саду.

Хотя это не только английская традиция, ведь когда я в своей работе захожу в тупик и не могу принять правильное решение, а в голову приходят только какие-то обрывочные и корявые мысли, я иду подпитываться мудростью в сад. Встаю, выключаю компьютер, иду в сарай, надеваю рабочий халат, перчатки, резиновые калоши и шляпу, беру корзинку с садовыми инструментами, грабельки, тяпку и направляюсь к самой заросшей и запущенной клумбе. Смотрю на нее и вижу: так, вот разрослась полынь и душит гортензию, а ведь еще неделю тому назад полынь стремилась вверх, росла себе за старым яблоневым корнем, и ничего не предвещало, что она быстренько переползет на клумбу и начнет заслонять цветущий куст. Обнаглела ты, соседка-полынь, и решила пожить на моей грядке.

Так, стоп, очень интересная мысль. Значит, кто-то обнаглел и угрожает моим интересам! Ну что ж, возьмем тяпку, выгоним полынь на ее прежнее место за яблоневым корнем и спасем гортензию. Для того чтобы в мире что-либо изменилось, надо в буквальном смысле возделывать этот мир своими руками. С полынью покончено, сухие листья с гортензии обрезаны, земля вокруг куста окучена и полита. Возвращаюсь в кабинет, и правильное решение приходит само – ясно и четко. Строчки ложатся быстро и ловко, слова помогают друг другу, проявляя и создавая будущие события.

Я привыкла к магии сада с детства. Когда я родилась, мой дед посадил яблоню. В саду было двенадцать яблонь и груш, каждое дерево имело имя, причем десять из них были посажены в дни рождения членов нашей дружной семьи, а два дерева дедушка и бабушка высадили в честь себя самих. Утром бабушка выходила в сад пообщаться с деревьями: то слишком много яблок на ветке – надо сук подпереть; то деревце плохо плодоносит – надо привить; то гусеницы напали на листочки – надо уничтожить этих толстых и волосатых, пока не сожрали все; и, конечно, окучить, подкормить, полить и погладить ласково кору каждого дерева...

Многое бабушка знала наперед о своих детях и внуках и старалась защитить их и смягчить удары судьбы. То заболела внучка, чью антоновку одолевали гусеницы, но все обошлось, поскольку чудесным образом дежурил в больнице в ту ночь доктор-кудесник... То младший внук, у белого налива которого ветку подперли, получил удар коньком на тренировке по голове, но шлем смягчил удар... То малиновка привитая начала плодоносить, значит, слава богу, младшая дочь, наконец-то скоро за-

муж выйдет и малыша понесет. С детства я помнила бабушкины слова: «Мы, женщины, обладаем особой магией, дарованной нам матерью-землей, и должны заботиться о ее детях: цветах, деревьях, кустах, растениях. И все наперед расскажет нам матушка, подскажет, какой год будет, какие события произойдут и как наших детей, дом и дело сберечь. Надо просто смотреть на растения, любить и ухаживать за ними. Цветы – для здоровья, красоты и силы, а помидоры, огурцы и лук – для прибыли и удачи».

Кэб от вокзала Виктория добрался до четырехэтажного дома с приятным внутренним двориком, фонтаном и горшками с какими-то синими цветами на крыльце. Рядом с парадным, на скамейке, сидела небольшого роста молодая женщина лет тридцати и с кем-то разговаривала по телефону. Увидев меня, она вскочила и побежала навстречу.

- Тетя Соня, так нельзя, у тебя же есть мобильный телефон, почему ты не отвечаешь на звонки?! Сначала настояла на том, что доберешься из Гатвика до моего дома сама, и не отзываешься... Я чуть с ума не сошла! Не зря тебя в детстве называли Пропажей! – почти со слезами на глазах выговаривала моя племянница Танюша, обнимая меня.
- Таточка, привет! Ты прекрасно выглядишь, прямо светишься вся изнутри! Похоже, есть что-то, чего я не знаю? – постаралась я переменить тему разговора, скрывая свою неловкость.
- Ничего-то от тебя не скроешь, тетушка! Я изменила свой образ жизни и теперь счастлива, – рассмеялась моя племянница. – Раньше я работала в инвестиционной компании практически целыми сутками. Свободного времени для себя совсем не оставалось, а если и было немножко, то я со всеми окружающими разговаривала как с клиентами. Все время что-то доказывала или в чем-то убеждала. Моя душа начала умирать, а ведь жизнь состоит не только из зарабатывания денег, в ней должна быть еще и радость. И я пошла учиться на шоколатье.
- На кого? – обалдев, переспросила я.
- На шо-ко-ла-тье, – медленно повторила Танюша по слогам. – Шоколатье – это человек, который делает все что угодно из шоколада. Я делаю конфеты и продаю их на Боро-маркете. Так что теперь я работаю офисной криветкой четыре дня в неделю, а в остальное время занимаюсь шоколадом. И счастлива! А мои новые многочисленные друзья покупают у меня конфеты для своих торжеств и подарков. Изменилась я, и преобразился мир вокруг. Он стал радостным!

– А я могу попробовать твои конфеты и понаблюдать, как ты их продаешь? – совсем растерялась я, пробубнив под нос. – Господи, это надо же было учиться двадцать лет, переехать из Москвы в Лондон, чтобы обрести счастье, став обычным кондитером!

– Конечно, завтра суббота! Мы вместе двинем на Боро-маркет к Лондонскому мосту, и ты словишь кайф! Этому наивкуснейшему месту почти 700 лет! Только подъем, чур, в шесть утра, в восемь нам надо быть за прилавком!

Ранним утречком мы загрузили бесчисленное количество коробок, коробочек и корзин в машину Танюшиного приятеля и рванули к каменному зданию с высеченными словами Borough Market. Бесконечная крыша на металлических столбах поглотила нас... Люди шли, толкали тележки, смеялись, здоровались, останавливаясь каждый у своего прилавка.

– Вот мы и на месте, спасибо за помощь. И, тетя Соня, дуй завтракать, дальше я сама!

– Может, я помогу, чем смогу?! – спросила я.

– Не-не-не, я сама. Шоколад не терпит чужих рук. Извини. Приходи часа через три, когда я закончу торговать, – развернула меня племянница и подтолкнула направо. – Иди-иди по направлению к Среднему рынку – это самое классное место!

Я сделала несколько неуклюжих шагов, глубоко вдохнула и... пошла на запах, на до боли знакомый с детства запах бабушкиного погреба, где пахло ветчиной и яблоками. За поворотом на прилавках возвышались корзины со знаменитыми яблоками из графства Кент. А дальше открывались такие картины, по сравнению с которыми натюрморты великих фламандцев были жалкими рисунками неумелого ребенка. Вниз головами висели охотничьи трофеи: фазаны, кролики, косули. Лежали тушки молочных поросят, уток и гусей. Такие картинки я видела только в знаменитой кулинарной книге «0 вкусной и здоровой пище» и честно думала, что таких продуктов больше нет, а оказалось, они живут в центре Лондона! Вау!

*Окончание следует.*

